Невесты ящера



Мори Ин

18+

Мори Ин

Невесты Ящера

«Автор»
2026

Ин М.

Невесты Ящера / М. Ин — «Автор», 2026

Осень 1172 года. Владимирская земля.В селе Заречье на Клязьме из реки достают девушек — в белых свадебных рубахах, с венками из летних купальских трав на головах. Деревня шепчется: древний Ящер, речной хозяин, снова берёт себе невест.Князь Андрей посылает вирника Ждана — насмешника и хитреца, который не верит ни в нечисть, ни в совпадения. С ним едет бывший скоморох Ухват, который верит во всё сразу. В тумане над рекой, между враждующими боярами, монастырскими стенами и старым капищем на острове им предстоит понять, кто на самом деле приходит за невестами. А Ждану предстоит посмотреть в глаза реке, которой он боится с детства.Мистический детектив о вере, страхе и вине, которую не утопишь.

© Ин М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Часть первая. Туман над Клязьмой 7
Глава первая. Дорога на Заречье 7
Глава вторая. Белая рубаха 13
Глава третья. Знахарка 20
Глава четвёртая. Келарь 29
Глава пятая. Мельница 37
Глава шестая. Четвёртая точка 44
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Мори Ин
Невесты Ящера

Невесты Ящера

От автора

Этот роман — художественное произведение и не претендует на историческую достоверность. Реальные исторические лица и события служат в нём лишь фоном и изображены свободно, по воле автора. Все прочие персонажи, село Заречье, Спасо-Лужский монастырь и остров Ящерова грива вымышлены. Любые совпадения имён, мест и событий с действительными случайны.

Пролог

Владимирская земля, осень 1172 года

Туман пришёл с реки после полуночи. Он поднялся из стариц и заводей, переполз через луг, улёгся у плетней и затопил Заречье так, что крайние избы стояли в нём, как лодки на мели.

Она не помнила, как вышла из дому.

Под ногами была трава, мокрая и холодная, и холод этот доходил до неё не сразу: сперва ноги чувствовали, а потом, словно издалека, понимала она. Ступни были босые. Рубаха на ней была белая, праздничная, та, что шили к свадьбе. Она хотела удивиться и не смогла. Удивление лежало где-то на дне, как камень в омуте, и до него было не донырнуть.

Кто-то держал её за руку.

Рука была тёплая и сухая, и держала бережно, как держат ребёнка, когда переводят через ручей. Повернуть голову и посмотреть, кто идёт рядом, она не могла: шея не слушалась, и это тоже было не страшно, а только странно. Пахло мятой и воском. И ещё чем-то сладким и горьким разом, отчего во рту стоял привкус мёда, а язык лежал тяжёлый, чужой.

Рядом тихо напевали. Без слов, низко, как пели в детстве над люлькой. Она почти узнала напев и потеряла его.

На голове шуршал венок. Сухие стебли кололи лоб, и от них пахло летом, июньской ночью, полынью и плакун-травой, хотя на дворе стояла поздняя осень. Она это знала точно, потому что через три седмицы у неё свадьба, а свадьбы играют, когда урожай убран.

Свадьба. На груди, под рубахой, лежал серебряный колт с птицей-сирином, батюшкин подарок. Она подумала о птице, о свадьбе, о женихе, и где-то за стеной, за толстой войлочной стеной, кто-то закричал внутри неё. Крик этот был так далеко, что казался чужим.

Трава кончилась. Под ногами захлюпал ил.

Рука отпустила её.

— Иди, — ласково сказали за спиной. — Иди, невестушка. Ждут.

И она пошла.

Вода обожгла щиколотки, потом колени. Река была чёрная и гладкая, как начищенное железо, и туман над ней стоял стеной. Далеко впереди, там, где из тумана выступал остров, мигал крохотный огонёк, будто кто-то открывал и закрывал глаз.

А потом перед ней, совсем близко, в чёрной воде что-то шевельнулось. Без всплеска, без ряби. Медленно, будто нехотя, оно поднималось к ней из глубины.

Она хотела закричать.

Ей не дали.

Часть первая. Туман над Клязьмой

Глава первая. Дорога на Заречье

— А ещё сказывают, — начал Ухват таким голосом, каким начинают самое страшное, — что у Ящера во рту три ряда зубов. И все назад загнуты. Чтоб, значит, не вырвалась.

— Удобно, — согласился Ждан.

— Чего удобно?

— Зубы назад. Хорошо придумано. Будь я сказателем, тоже себе бы что-то этакое выдумал.

Ухват посмотрел на него с укором, как смотрят на дитя, хохочущее в церкви, и плюнул через левое плечо. Подумал и плюнул ещё раз, для верности.

Ехали они вторые сутки. Владимир с его белыми соборами и золотыми маковками остался позади, за лесом, и теперь дорога шла вдоль Клязьмы, то взбегая на высокий берег, то ныряя в низины, где под копытами чавкала чёрная грязь. Стоял октябрь. Леса стояли хмуро-оранжевые, голые наполовину. Река внизу была тяжёлая и медленная, и над нею даже днём висела белёсая муть.

Ждан ехал на гнедом мерине, спокойном и умном, который, по общему мнению, был рассудительнее своего хозяина. Вирнику[1] было лет тридцать пять. Был он худощав, сухощёк, с короткой русой бородой, в которой уже пробивалась ранняя седина, и с глазами, которые всё время будто чему-то посмеивались. Одет он был просто, в дорожную свиту и простой плащ, и только серебряная княжья гривна на шее показывала, что едет не купец и не монастырский служка. Гривну он, впрочем, по большей части прятал под ворот. Говорил, что от неё шея мёрзнет.

Ухват ехал рядом на пегой кобыле, такой же толстой и шумной, как он сам. Кобылу он звал Боярыней: «Потому что ест много, а везти не хочет». Сам Ухват был мужик лет сорока, широкий, краснолицый, с рыжей бородищей и с руками, которые, казалось, никогда не бывали в покое: то крутили ус, то перебирали обереги на поясе, то ныряли за пазуху. Оберегов на поясе висело изрядно: медвежий зуб, громовое колесо, оловянный крестик, куриный бог, обрывок красной нитки и ещё что-то, в чём сам Ухват путался.

Когда-то, лет восемь назад, Ухват был скоморохом. Ходил с ватагой по сёлам, водил медведя, глотал огонь и пел срамные песни так, что бабы краснели, а мужики плакали от смеха. Потом в Суздале у одного купца пропал кошель, и скоморохов, как водится, взяли первыми. Кошель нашли у Ухвата. Ухват клялся, что подкинули, и кошель ему действительно подкинули. Это выяснил молодой ещё тогда вирник Ждан, когда Ухват уже стоял под перекладиной и прикидывал, как бы помолиться сразу и Христу, и Перуну, чтоб уж наверняка.

С тех пор Ухват при Ждане. По княжьим грамотам он значился мечником, по совести был всем сразу: слугой, телохранителем, сводником, соглядатаем и единственным человеком на свете, который мог сказать вирнику в лицо, что тот дурак.

Говорил он это регулярно.

— Ты не смейся, — сказал Ухват. — Ты послушай. Мне про Ящера ещё бабка моя сказывала, а она врать не умела. Ящер, он в реке живёт, на самом дне, где омуты. Он всей водой владеет. И рыбой, и утопленниками, и русалками. В старину-то люди его уважали. Каждое лето, на Купалу, ему невесту давали. Самую красивую девку наряжали в белое, венок на голову, и

[1] **Вирник** — это княжеский чиновник или служитель при княжеском суде, который взыскивал **виру** (денежный штраф в пользу князя за убийство или тяжкое увечье).

в воду. Он её за себя брал, а за это реку смирял: чтоб не разливалась, чтоб посевы не губила, чтоб рыба шла.

— А потом пришли попы, — сказал Ждан.

— А потом пришли попы, — мрачно согласился Ухват. — И невест давать перестали. А Ящер-то обиду держит, он не забывает. Вот и берёт теперь сам. Без спросу.

— Три невесты за полгода. Аппетит у него, однако.

— Голодный. Сто лет не кормили.

— Ухват, — сказал Ждан задумчиво, — а вот скажи мне, раз ты такой знаток. Зачем Ящеру невесты?

— Как зачем? — опешил Ухват. — Ну... для этого. Для того самого.

— Он же ящер.

— Ну.

— Хладнокровный гад с тремя рядами зубов. Что он с ними делает-то, с невестами? Детей с ними заводит? Так это какие дети выйдут?

Ухват открыл рот, подумал и закрыл.

— Это ты нарочно, — сказал он наконец. — Это ты чтоб меня с толку сбить. А я тебе так скажу: не нашего ума это дело. Что Ящер с невестами делает. Делает и делает.

— Вот это, — с удовольствием сказал Ждан, — первая разумная вещь, что ты сказал за два дня.

Дорога пошла вниз, в лощину, где по дну тёк ручей и стояли старые чёрные ольхи. Здесь было сумрачно и сыро. Кони пошли осторожнее.

— Ты мне лучше вот что скажи, — Ухват понизил голос, будто деревья могли подслушать. — Ты ведь не просто так сам поехал. Мог бы кого из молодых послать. Мало ли девок по Руси топнет.

Ждан помолчал.

— Третья девка, — сказал он, — дочь боярина Твердислава.

Ухват присвистнул. Тихо, сквозь зубы, а потом спохватился, что свистеть в лесу у воды нельзя, и испуганно перекрестился.

— Того самого? Ростовского?

— Того самого.

— Ох ты ж... Так он князя-то нашего...

— Не любит, — кивнул Ждан. — Как и всё ростовское боярство. Они Владимир за город не считают. Говорят, князь Андрей поставил столицу на холопьем пригородке, а честных старых бояр променял на каменщиков да на своих выкормышей. И вот у такого боярина в княжьей земле убивают дочь. Боярин пишет князю письмо. Я его читал, Ухват. Вежливое письмо. Очень. От такой вежливости потом города горят.

— И князь послал тебя.

— И князь послал меня. Сказал: «Ждан, поезжай, найди лиходея[2], отдай Твердиславу, и пусть он видит, что княжий суд в моей земле стоит крепко». — Ждан усмехнулся. — Князь у нас любит, чтоб было просто.

— А просто не будет, — сказал Ухват. Не спросил, а сказал.

— А просто не будет никогда. Там ещё «дикая вира», понимаешь? Если в общинной земле найдут убитого, а убийцу не выдадут, платит вся вервь. Сорок гривен. За боярскую дочь, может, и вдвое. Для села это разорение. Так что подумай теперь, кого заречные мужики больше хотят в убийцы: своего соседа или Ящера?

Ухват подумал.

— Ящера, — сказал он неохотно. — С Ящера виру не возьмёшь.

---

[2] **Лиходей** — это злой человек, злодей, враг или мучитель, который причиняет зло и несчастье.

— Вот и я так думаю. Значит, лгать нам будут все. Дружно, от души, всем селом.

Они выбрались из лощины. Дорога снова пошла верхом, по высокому берегу реки, и впереди показался встречный всадник. Ехал он быстро и, поравнявшись, только скользнул по ним взглядом: увидел пузатого рыжего мужика с оберегами и человека в простой свите, решил, что купец с работником, и даже не придержал коня. Лишь грязь из-под копыт веером хлестнула по ногам Ухватовой кобылы.

— Чтоб тебя Ящер за зад ухватил, — от души пожелал Ухват вслед.

Ждан проводил всадника взглядом.

— Боярский человек, — сказал он. — Ростовский. Едет из Заречья во Владимир, а может, и дальше, в Ростов. Везёт письмо. И в Заречье, Ухват, нас ждёт неприятное.

Ухват посмотрел на него, потом на удаляющуюся спину, потом снова на него.

— Ну и откуда?

— Сапоги, — сказал Ждан. — Сапоги у него с загнутыми носами, по-ростовски шиты. У нас так не шьют. Конь кормленый, но заморенный, гнали его не первый день. Значит, человек едет далеко и торопится. Сумка на боку закрыта и опечатана, видел воск? Простой гонец печать бы не таскал. А на сапоге, на правом, сбоку, кровь.

— Мало ли. Курицу резал.

— Курицу режут ножом, а не сапогом. Брызги снизу вверх, как бывает, когда пинаешь лежачего. И свежая, не отмылась ещё. И едет он со стороны Заречья. Других сёл там нет, только Заречье да монастырь.

Ухват долго молчал. Потом сказал с глубоким отвращением:

— Вот за это тебя, Жданко, никто и не любит.

— Знаю, — кротко сказал Ждан. — Я и сам себя не люблю. Особенно по утрам.

К вечеру начался туман.

Он пришёл не сверху, а снизу, от реки. Сперва поплыл белыми прядями над водой, потом пополз по склону вверх, к дороге, и скоро кони шли в нём по колено, а потом по грудь. Звуки в нём глохли. Лес по сторонам стал серым, потом исчез. Где-то справа, невидимая, дышала река.

Ухват перестал разговаривать. Это само по себе было знамением куда страшнее любого Ящера. Он ехал молча, держась за медвежий зуб, и губы его шевелились.

— Наговор? — спросил Ждан.

— Отче наш, — огрызнулся Ухват. — А потом наговор. А потом опять Отче наш. Я, Жданко, человек осторожный. Мне на том свете всё равно, кто меня примет, лишь бы приняли.

Река в тумане плеснула. Громко, тяжело, как бьёт хвостом большая рыба. Или не рыба.

Обе лошади встали разом, как вкопанные. Гнедой мерин Ждана, рассудительный и смирный, прижал уши и попятился. Боярыня захрапела.

Ждан тронул коня пятками. Мерин не пошёл.

Минуту они стояли неподвижно в белой мгле. Было так тихо, что Ждан слышал, как капает с ветвей. Потом снова плеснуло, но уже дальше, ниже по течению. И ещё раз, совсем далеко.

И стало тихо.

Мерин выдохнул, встряхнул гривой и пошёл сам, будто ничего не случилось.

— Сом, — сказал Ждан. Голос у него был ровный, совершенно ровный. Только руки, сжавшие повод, побелели в костяшках, и Ухват, который знал его восемь лет, это видел. И ещё он видел, что Ждан ни разу не посмотрел в сторону реки. Ни разу за весь день.

Про то, как утонул у вирника младший брат, Ухват знал. Ждан рассказал ему однажды, спьяну, и больше никогда об этом не говорил. Ухват тоже не говорил. Есть вещи, которые не трогают.

— Сом, — легко согласился Ухват. — Конечно, сом. Здоровый, видать. Пудов на десять.

— На десять, — сказал Ждан. — Не меньше.

Заречье открылось внезапно, как это бывает в тумане. Только что ничего не было, и вдруг из белого выступил плетень[3], за ним другой, тёмный сруб, колодезный журавль, задранный в небо, как виселица. Залаяла собака, коротко и как-то неуверенно, и сразу замолчала.

Село было большое, дворов на сорок, а то и больше. Избы стояли вдоль берега и вверх по склону. На горке темнела деревянная церквушка с одной главкой. Было ещё не поздно, едва смеркалось, но на улице не было ни души. Ставни закрыты. Двери заперты. Ни дыма над крышами, ни голосов.

На воротах крайней избы висел пучок сухой полыни. На следующих тоже. И на следующих. Над одной калиткой кто-то вырезал крест, а рядом, свежим ножом, громовое колесо. На кольях плетня белели конские черепа.

— Веселуха, — пробормотал Ухват. — Как на родине побывал.

— Не нравится?

— Мне-то? Мне нравится. Сразу видно: люди хорошие, правильные, нечисть уважают. Только боятся они очень, Жданко. Ой как боятся. Я, когда медведя водил, видал сёла, где мор прошёл. Там так же было. Тихо, и всё на запоре.

— Мор, — сказал Ждан, — по одной девке в два месяца не берёт.

Они ехали по пустой улице, и копыта глухо стучали по утоптанной земле. Из-за ставен на них смотрели. Ждан чувствовал эти взгляды кожей, как чувствуют сквозняк.

Потом впереди, у колодца, закричали.

Кричал мужик. Не от страха, а от боли, тонко и как-то. Ему ответил хохот и глухой удар.

У колодца горели два факела. В их свете Ждан разглядел пятерых. Четверо в добрых кафтанах, при мечах, с ростовскими загнутыми носами на сапогах. Пятый в посконной рубахе, без шапки, валялся в грязи. Его держали за руки двое, а третий, рослый, с рябым лицом, неторопливо, со знанием дела, бил его сапогом по рёбрам. Четвёртый стоял поодаль, держал факел и скучал.

— Говори, пёс, — приговаривал рябой между ударами. — Кто к реке ходит? Кто на остров плавает? Кто девок водит? Говори, а то и тебя к Ящеру спровадим. Посмотрим, как он тебя за себя возьмёт.

Мужик хрипел что-то, и не разобрать было, что.

Ухват тихонько вздохнул и повёл плечами, разминаясь. Рука его как бы сама собой скользнула к поясу, где под оберегами висел короткий тяжёлый нож.

— Нет, — сказал Ждан, не повышая голоса.

— Их четверо.

— Вот именно. И все при мечах, и все боярские. Убьёшь одного, и завтра у нас война с Ростовом. Боярин только того и ждёт, чтоб княжий человек ему повод дал.

— А что тогда?

Ждан подумал. Потом стянул с головы шапку, сгорбился, отчего сразу стал ниже ростом и как-то жалче, и тронул коня шагом прямо к колодцу.

---

[3] **Плетень** — это традиционная плетёная изгородь из гибких ветвей и прутьев, а также простая строительная и хозяйственная конструкция.

— Мир вам, добрые люди! — сказал он громко и радостно, тем особенным голосом, каким разговаривают с властью мелкие писцы и монастырские служки: заискивающе и бестолково. — Бог в помощь! А не подскажете, где тут староста живёт? Мы люди проезжие, с дороги сбились, туман-то, туман какой, батюшки...

Рябой обернулся. Двое, что держали мужика, тоже. Скучный с факелом поднял свет повыше и осветил Ждана: шапку в руке, простую свиту, робкую улыбку.

— Пошёл отсюда, — сказал рябой. — Проваливай, пока цел.

— Сейчас, сейчас, милостивец, уже пошёл, — закивал Ждан. Но конь его почему-то не уходил, а, наоборот, сделал ещё шаг и встал боком, загородив избитого. — Только вот грамотку бы мне старосте показать. Велено мне, понимаешь, старосте показать, а куда я с ней, грамоткой-то, в тумане... Ухват, где грамотка? Достань-ка.

— Ты что, оглох?! — Рябой шагнул к нему, задрав руку. — Я сказал...

Ждан полез за пазуху, будто за грамоткой, и неловко, суетливо, как бы случайно, выволок наружу шнурок. На шнурке, тяжёлая, холодная, блеснула в свете факела серебряная гривна с княжьим знаком: двузубец и крест.

Рябой остановился с поднятой рукой.

— Ох, — сказал Ждан огорчённо, глядя на гривну, будто впервые её видел. — Не то достал. Это не грамотка. Это так, безделица. Князь подарил. Велел носить, когда по делам езжу. Я её прячу обычно: шея мёрзнет, да и людей смущать не хочется. Вот ты, добрый человек, смутился? Не смущайся. Я ведь только старосту спросить.

Стало очень тихо. Двое отпустили руки мужика, и тот ткнулся лицом в грязь.

— Вирник, — сказал рябой. Не спросил. Голос у него стал другим.

— Он самый, — сказал Ждан и наконец распрямился. Улыбка его никуда не делась, только стала совсем другой. — Княжий вирник Ждан, сын Власов. Приехал, видишь, по делу о смертном убийстве в селе Заречье, в княжьей земле. А это кто на земле лежит? Видок[4]? Послух[5]? Подозреваемый в убийстве?

Рябой молчал.

— Нет? — удивился Ждан. — Тогда, выходит, это просто княжий смерд, которого вы, люди боярские, в княжьей земле бьёте без княжьего суда. Ухват, сколько за такое по «Правде»[6] положено?

— Двенадцать гривен продажи[7] князю, — с удовольствием сказал Ухват, который «Русскую Правду» знал наизусть, потому что по ней его чуть не повесили. — И потерпевшему за обиду. И за каждую сломанную кость особо. Я, Жданко, кости могу посчитать, мне не трудно.

— Посчитай, — разрешил Ждан. — А я пока запишу, как кого зовут. Ты, добрый человек, как прозываешься? Для грамотки.

Рябой отступил на шаг. Потом ещё на один. Он смотрел на Ждана, и в лице его была растерянность, а под растерянностью тлела злоба, тяжёлая, медленная, которая не прощает.

— Мы люди боярина Твердислава, — сказал он наконец. — По его слову делаем. Он сыск ведёт. Его дочь убили.

— Знаю, — кивнул Ждан. — Затем я и здесь. Сыск, добрый человек, ведёт князь. А боярин Твердислав, по горю своему, может князю помогать. Советом. Ты ему так и передай.

— Сам передашь, — раздался голос с горки.

Все обернулись.

---

[4] **Видок** — это свидетель-очевидец в древнерусском судебном процессе, который лично видел событие или преступление.

[5] **Послух —** это свидетель в древнерусском праве, который давал показания в суде (часто с чужих слов или как поручитель с «доброй славой»).

[6] **Русская Правда** — это древнейший письменный сборник правовых норм и законов Киевской Руси.

[7] Под **продажей** тут имеется в виду уголовный штраф**.**

На крыльце старостиной избы, самой большой на улице, стоял человек. Факелы не доставали до него, и в тумане виден был только тёмный высокий силуэт, широкие плечи под шубой и белая голова: волосы и борода седые совсем, как у старика, хотя стоял он прямо и твёрдо, как дуб.

— Вирник, — медленно сказал боярин Твердислав, и слово это прозвучало у него так, как произносят название болезни. — Долго же думал князь.

Ждан посмотрел на него. Потом слез с коня, отряхнул свиту, снова надел шапку и поклонился. Поклонился правильно, ровно настолько, насколько княжий человек кланяется боярину. Ни на палец ниже.

— Князь думал быстро, боярин, — сказал он. — Это туман у вас медленный.

Где-то за спиной, далеко, внизу, в невидимой реке опять плеснуло. Тяжело и гулко.

Никто, кроме Ухвата, не заметил, что Ждан к реке опять не обернулся.

Глава вторая. Белая рубаха

В старостиной избе было жарко, дымно и становилось невыносимо душно от страха.

Страх этот исходил главным образом от самого старосты, Микулы, мужика лет пятидесяти, лысого, с пегой бородой. Он кланялся так часто и так низко, что Ждан начал опасаться, как бы тот не расшиб лоб о собственный стол. Жена старосты, бледная, с поджатыми губами, метала на стол хлеб, квас, кашу, солёные грузди. Ставила на стол молча и быстро, с видом как будто хотела поскорее уйти. Двое ребятишек смотрели с полатей круглыми глазами.

Боярин Твердислав сел во главе стола, на хозяйское место. Микула не возражал: возражать Твердиславу, судя по всему, никто в Заречье не пробовал. А если и пробовал, то недолго.

Вблизи, при свете лучины, боярин оказался не таким старым, каким казался в тумане. Пятьдесят, не больше. Лицо тяжёлое, властное, с крупным носом и глубокими складками у рта. Руки большие, в перстнях, и правая лежала на столе, сжатая в кулак, и не разжималась. А волосы и борода были белые, совсем белые, белее, чем бывает даже у глубоких стариков. Такая белизна бывает только у снега и у тех, кого жизнь ударила враз.

— Седой за седмицу[8], — шепнул Ухват Ждану в ухо, пока они снимали плащи у двери. — Мне баба у колодца сказала, пока ты гривной тряс. Чёрный был, говорит, как ворон. Как дочку из воды вынули, так за считаные дни и побелел.

Ждан кивнул, не ответив.

Ухвата за стол не позвали. Он устроился у печи, на лавке, рядом с хозяйкой, и через минуту уже жевал пирог и что-то ей тихо говорил, и хозяйка, к великому удивлению Микулы, улыбнулась. Ухват умел так со всеми женщинами от пятнадцати до восьмидесяти. Ждан этого объяснить не мог и давно перестал пытаться.

Избитого мужика Ухват перед тем велел занести в соседнюю клеть, ощупал ему рёбра, сказал «два сломаны, жить будет», перетянул грудь полотенцем и влил в него полкружки браги. Мужика звали Сбыня, был он рыбак, и Ждан запомнил это имя.

— Садись, вирник, — сказал Твердислав. Так говорят собаке: «к ноге».

Ждан сел. Не напротив боярина, куда указал Микула, а сбоку, на угол, и почему-то так, что свет лучины падал на Твердислава, а сам вирник оставался в тени. Боярин это заметил, сощурился, но промолчал.

— Сперва о деле, — сказал Твердислав. — Ты знаешь, кто я. Я знаю, кто ты. Тебя князь прислал, чтоб я видел, что князь обо мне радеет. Я вижу. Можешь ехать обратно и сказать, что я благодарен.

— Не могу, — с сожалением сказал Ждан.

— Почто?

— Каша у хозяйки больно хороша. — Ждан зачерпнул ложкой. — Да и конь устал. Да и князь, боярин, не велел мне возвращаться, пока лиходея не найду. А я князя боюсь больше, чем тебя. Ты не обижайся. Это я не от неуважения. Просто князь ближе живёт.

Микула издал звук, какой издаёт человек, подавившийся грибом. Хозяйка у печи замерла с ухватом[9] в руке (с настоящим, печным), а Ухват, тот, что человек, уткнулся в пирог, и плечи его затряслись.

Твердислав смотрел на Ждана долго. Потом медленно, очень медленно, разжал кулак и положил ладонь на стол.

---

[8] **Седмица —** семь дней.

[9] Под **ухватом** тут имеется **в виду** традиционный русский ручной инструмент, представляющий собой длинную деревянную рукоять (черенок) с закреплённой на ней металлической рогаткой или полукольцом на конце**.**

— Шутишь, — сказал он. — Это хорошо. Мне сказывали про тебя, вирник. Говорят, ты хитёр. Говорят, ты в Суздале купеческую вдову уличил, что мужа отравила, а все думали — от живота помер. Говорят, ты князю верный пёс.

— Про пса врут, — сказал Ждан. — Псы кусаются, а я больше думаю. Про вдову правда.

— Так вот думай, умный. — Боярин наклонился вперёд, и лучина[10] затрещала. — Мою дочь, мою Любаву, единственную мою, нашли в реке в белой рубахе, с венком на голове, как девку, что Ящеру дают. Знаешь, что это значит? Это значит, здесь, под самым княжьим Владимиром, где князь Андрей церкви белокаменные ставит и греков-богомазов кормит, здесь до сих пор ходят к поганому идолу на остров и приносят ему людей. Требы[11] кладут. Кровью. Ты понимаешь, вирник? Моя дочь была требой.

Голос у него не дрогнул. Только правая рука снова сжалась.

— Здесь есть волхв[12], — продолжал Твердислав. — Старик, в лесу живёт, на остров плавает. Вся деревня к нему ходит, кто лечиться, кто ворожить. Все знают, и все молчат. И поп ихний пьёт и молчит. И староста, — Микула вжался в стену, — молчит. Я своих людей пустил спросить. Ласково спросить. Сам видел, как ласково. И никто не говорит, потому что боятся волхва больше, чем меня. Ну так я им покажу, кого бояться. Я старика возьму, и на остров этот поганый огонь пущу, и тогда...

— И тогда, — тихо сказал Ждан, — если старик не убивал, убийца твоей дочери будет стоять в толпе и смотреть, как волхва жгут. И радоваться. А потом уйдёт домой. И через два месяца найдут в реке следующую.

Тишина.

— Ты думаешь, волхв не убивал, — сказал Твердислав.

— Я ничего не думаю, боярин. Я только приехал. Я ещё даже кашу не доел. — Ждан доел кашу и отложил ложку. — Я вот что знаю. Девок убито три, и все, говорят, одинаково. В белом, в венках, у воды. Значит, кто-то хочет, чтоб все видели: это Ящер. Очень хочет, старается. А когда кто-то так старается, чтоб все видели одно, мне всегда хочется посмотреть, что за этим одним стоит. Может, и волхв. А может, и нет. Дай мне сперва посмотреть.

— На что смотреть? Дочь моя мертва.

— На неё и смотреть, — сказал Ждан. — Где она?

Микула открыл рот и закрыл. Посмотрел на боярина. Боярин не ответил.

Ответила хозяйка, от печи, шёпотом:

— В церкви она, батюшка. В подклете. Уж шестой день. Хоронить не дают.

Ждан медленно повернулся к Твердиславу.

— Не хороню, — сказал боярин глухо. — Слово дал. Над ней, над водой ещё, когда вынули. Пока убийца не будет висеть, в землю её не положу. — Он помолчал. — Её там на лёд положили, с ледника. Холодно. Попова баба приглядывает.

Он сказал это ровно, будто о зерне в амбаре. Но Ждан видел его руку, и видел, как дёрнулся уголок рта под белой бородой, и подумал, что этот тяжёлый, злой и опасный человек уже шестую ночь не спит. Лежит и думает о дочери на льду в холодном подклете.

— Это хорошо, — сказал Ждан мягко.

— Что хорошо? — Боярин вскинул голову, и в глазах его вспыхнуло бешенство.

— Хорошо, что не похоронил. Ты, боярин, сам того не зная, оказал мне великую услугу. Мёртвые говорят, если уметь спросить. Мне многое расскажет твоя дочь, чего живые не скажут. Пойдём к ней сейчас.

---

[10] **Лучина** — это тонкая длинная щепка или пластинка из сухого дерева, которую в старину использовали для освещения помещений, а также для растопки печей и разжигания огня.

[11] Здесь под требой имеется в виду обрядовое подношение или дар богам, духам или предкам.

[12] **Волхвы** — это языческие жрецы, прорицатели, знахари и чародеи.

— Ночь на дворе.

— Мёртвым всё равно, а мне так даже лучше. Днём народ набежит.

Твердислав смотрел на него. Потом поднялся, тяжело, всем телом, и вышел из-за стола.

— Я с тобой, — сказал он.

— Не надо бы, боярин, — сказал Ждан. — Я буду делать с ней то, что отцу видеть не след.

— Я с тобой, — повторил Твердислав, и Ждан понял, что спорить бесполезно.

— Тогда расскажи мне по дороге, — сказал он, вставая. — Всё, что помнишь. Последние её дни. Что делала, куда ходила, с кем говорила. Всякую мелочь. Мелочей не бывает.

Ухват дожевал пирог, вздохнул, бросил на хозяйку взгляд, полный скорби о недоеденном, и пошёл за ними.

Туман на улице стал ещё гуще. Факел в руке Ухвата освещал шаг вперёд, не больше, и за этим шагом была белая стена. Церковь стояла на горке, и подниматься к ней надо было по скользкой тропе, мимо погоста с покосившимися крестами.

Твердислав шёл впереди, не глядя под ноги, и говорил отрывисто, будто отдавал приказы:

— Свадьба была назначена на Дмитриев день. Жених — Станила, сын тысяцкого ростовского. Хороший род. Любава его видела два раза. Нравился ли — не знаю. Не спрашивал. Отцы о таком не спрашивают.

Он замолчал на три шага.

— Мы приехали сюда в сентябре. Тут моя вотчина, усадьба на холме, за селом. Тут она и росла, малой ещё, при матери. Мать её тут и похоронена. Любава хотела перед свадьбой у матери на могиле побыть. Ну и поехали. Я думал — блажь девичья. А она в сентябре повеселела даже. С подругами старыми гуляла, сельскими. Я не запрещал. Пусть, думал, напоследок.

— С какими подругами? — спросил Ждан.

— Почём я знаю? Девки. Сельские. Здесь с ними росла. Мамка[13] её знает.

— А потом?

— А потом... — боярин сбился с шага. — В конце сентября поехала в монастырь, к исповеди. Тут монастырь недалеко, Спасский, на Луже. Сказала: перед свадьбой надо душу очистить. Я опять думал — дело доброе. Отвёз сам, сам и обратно забрал.

— И что после исповеди?

Твердислав остановился. Факел Ухвата выхватил из тумана его лицо, и оно было странным: растерянным, как у человека, который вдруг вспомнил то, о чём забыл подумать.

— Тихая стала, — сказал он медленно. — Я думал, от свадьбы. Девки перед свадьбой всегда... Плакала по ночам, мамка говорила. Из усадьбы не выходила. Подруг не звала. Окно велела ставней закрывать, хоть и днём. А за три дня до... до того... просилась обратно в монастырь. Говорила: ещё раз исповедаться надо, не всё сказала. Я не пустил. Сказал: после свадьбы наисповедуешься. Распутица[14], дорогу развезло.

Он замолчал. В тумане капало с веток. Где-то внизу, невидимая, шуршала река.

— Не пустил, — повторил он.

Ждан ничего не сказал. Он посмотрел на Ухвата поверх головы боярина, и Ухват едва заметно кивнул: запомнил.

Церковь была маленькая, бревенчатая, тёмная. Пахло в ней сыростью, ладаном и мышами. Поп, отец Евстафий, ждал их на паперти с фонарём. Кто-то из боярских людей успел сбегать и разбудить его. Был он маленький, сутулый, с жидкой бородкой, с красным носом и слезящимися глазами. Ряса на нём была надета наспех, задом наперёд, и от него крепко пахло брагой. При виде боярина он попятился, при виде гривны на шее Ждана, которую тот теперь не

---

[13] **Мамка** — часто это кормилица, няня или воспитательница, а не родная мать.

[14] **Распутица** — это сезон бездорожья, когда грунтовые дороги становятся труднопроходимыми или непроходимыми из-за сырой погоды, дождей или таяния снега.

прятал, перекрестился. А при виде Ухвата с его оберегами перекрестился дважды и посмотрел так жалобно, будто ему привели ещё одну беду.

— Сюда, — прошептал он. — Сюда, во имя Отца... Осторожно, ступенька...

Подклет[15] был под церковью, низкий, с бревенчатым потолком, о который Ухват немедленно стукнулся лбом и выругался так, что отец Евстафий охнул и закрестился в третий раз. Здесь было холодно, как в погребе. Пахло землёй, мокрым деревом и талой водой. И ещё, едва заметно, тем сладковатым, тяжёлым, о чём Ждан всегда старался не думать.

Посередине на двух широких скамьях стоял грубо сколоченный короб, набитый колотым речным льдом. На льду, под белым полотном, лежала Любава.

Попова жена, старуха, сидевшая подле на табурете с прялкой, вскочила, поклонилась и, не говоря ни слова, ушла наверх.

Твердислав остановился у двери. Дальше он не пошёл. Встал у косяка, большой и тёмный, и Ждан видел только белое пятно его головы в полумраке.

— Ухват, — сказал Ждан. — Света.

Ухват поднял факел, а отец Евстафий, подумав, поставил свой фонарь на край скамьи. Ждан откинул полотно.

Ей было лет двадцать с небольшим. Лицо узкое, тонкое, с отцовским упрямым подбородком, совсем белое, с синеватыми тенями у глаз и у губ. Тёмные косы, расплетённые для обмывания, лежали по плечам. Её переодели в чистую рубаху, но поверх, по обычаю, положили ту самую, в которой нашли: белую, свадебную, с вышитыми по вороту красными птицами. Рядом на льду лежал венок. Сухой, бурый, рассыпающийся.

Ждан смотрел на неё молча. Он всегда сначала смотрел молча, долго, и Ухват давно знал, что в это время его лучше не трогать.

Потом вирник перекрестился, тихо, не напоказ, и сказал вполголоса, обращаясь не к живым:

— Прости, девица. Потревожу. Ради тебя же.

И принялся за работу.

Сначала лицо. Он наклонился к ней, совсем близко, и долго разглядывал губы, ноздри, уголки рта.

— Отче, — сказал он, не оборачиваясь. — Когда её из воды вынули, пена была у рта? Белая такая, как мыльная. Из носа, изо рта?

— Не... не ведаю, — пролепетал Евстафий. — Я не видал. Бабы вынимали. Рыбаки... Не ведаю.

— А кто ведает?

— Обмывала её Ярина. Знахарка. Она и вынимала. Она первая к ней прибежала.

— Ярина, — повторил Ждан. Ухват у него за плечом беззвучно шевельнул губами: тоже запомнил.

Ждан осторожно, двумя пальцами, приоткрыл девушке рот. Поднёс ближе фонарь. Посмотрел. Потом сделал то, отчего отец Евстафий ахнул: наклонился и понюхал.

— Ухват, — сказал он. — Глянь.

Ухват, который на своём веку видал покойников больше, чем иной поп, подошёл без брезгливости и тоже наклонился.

— Между зубами, — сказал Ждан. — Видишь?

— Крошки какие-то. Тёмные. Травяные вроде. — Ухват подцепил ногтем, растёр на пальцах, понюхал. Лицо у него стало сосредоточенным, серьёзным, совсем не скоморошьим.

---

[15] **Подклет** — это нижний, нежилой цокольный этаж деревянного или каменного жилого дома, а также нижний ярус православного храма в традиционной русской архитектуре.

— Мёд. Старый, засахарился. А в меду трава толчёная. Горькая. Не разберу какая, Жданко. Тут знахарь нужен.

— Опоили, — сказал Ждан. Негромко, просто, как говорят «дождь пошёл».

У двери шевельнулась тёмная фигура. Ждан не обернулся.

Он перешёл к рукам. Взял сперва одну, потом другую, повернул ладонями к свету. Пальцы тонкие, нежные, боярские, с подстриженными ногтями. Ногти он осмотрел особенно внимательно, один за другим.

— Чисто, — сказал он.

— Обмыли, — заметил Ухват.

— Обмыть руки можно. А под ногтями отмыть — так, чтоб совсем ничего, — нельзя, если не выковыривать. Кто тонет, Ухват, тот бьётся. Хватает что попало: дно, ил, песок, траву. Утопленника всегда видно по рукам. Под ногтями грязь, а то и в кулаке что зажато. А у неё ни песчинки. Она не билась. Она не тонула.

Отец Евстафий тихо икнул от ужаса и закрыл рот рукой.

На левой ладони, посередине, был вырезан знак. Порезы тонкие, неглубокие, ровные, сделаны острым ножом и твёрдой рукой. Петля, а сквозь неё волнистая черта, как бегущая вода, и под ними три точки.

Ждан смотрел на знак долго. Потом достал из сумки, что всегда висела у него на поясе, вощёную дощечку-церу[16] и костяное писало и аккуратно, черта в черту, перерисовал.

— Видал такое? — спросил он у Ухвата.

Ухват мотнул головой.

— Не наше это. Не громовик[17], не колесо, не Велесов знак. Я обереги-то знаю, Жданко. Такого нету.

— Отче?

— Бесовское, — прошептал поп. — Бесовское это...

— Возможно, — согласился Ждан. — Только бесы, отче, обычно себя не утруждают. А тут кто-то старался. Смотри: края ровные, кожа не разошлась, крови запеклось совсем чуть-чуть. Если живого режешь, кровь идёт сильно, рана расходится, края синеют. А тут будто по коже свиной. Это резали мёртвую. Уже после.

— После чего? — хрипло спросили от двери.

Ждан помедлил. Потом взял полотно и осторожно, бережно, отвёл ворот чистой рубахи от шеи покойницы.

Там, где горло переходит в плечи, у самого основания шеи, шла полоса. Едва заметная, не ярче тени, бледно-синяя. Ровная, шириною в два пальца, она обегала шею кругом. Её легко было пропустить, если не знать, что ищешь. Женщины, что обмывали, приняли её, верно, за трупное пятно.

— Вот после чего, — сказал Ждан и выпрямился. — Не руками. Руками остаются пальцы, вот тут и вот тут, пятна по бокам. А это мягким. Платом[18], рушником[19], поясом. Чем-то широким и мягким, чтоб следа почти не осталось. Её сперва опоили, чтобы не кричала и не билась. Потом задушили, тихо, ласково, будто обняли. Потом вырезали знак. Потом надели венок и положили в воду. Чтоб все видели: Ящер взял невесту.

Он повернулся к двери.

— Твою дочь, боярин, убил не Ящер. Её убил человек. Ящеру рушник ни к чему.

---

[16] **Цера** — это деревянная или костяная дощечка с углублением, залитым тёмным воском, по которому процарапывали текст**.**

[17] **Громовик —** в популярной неоязыческой и эзотерической традиции славянский защитный символ, связанный с грозой и богом Перуном.

[18] Плат — устаревшее слово, означающее «платок».

[19] Рушник — вышитое полотенце.

Твердислав стоял неподвижно. В полумраке Ждан не видел его лица, только слышал дыхание, тяжёлое и хриплое, как у загнанного коня.

— Кто, — сказал наконец боярин. Не спросил. Просто сказал.

— Не знаю. Пока. — Ждан опустил ворот, поправил полотно. — Но теперь я знаю, где искать, а где не надо. Это уже много.

Он ещё раз посмотрел на венок, лежащий на льду. Наклонился, взял осторожно сухой стебель, растёр между пальцами.

— Ухват. Это что за трава?

Ухват взял, повертел, понюхал. Потом взял ещё стебелёк, другой, третий. Лицо у него стало странное.

— Полынь, — сказал он. — Это плакун. Это иван-да-марья, вон, синее с жёлтым, видишь, выцвело только. Это папоротник, лист. Это... Жданко, это купальская трава. Вся как есть. Её в купальскую ночь рвут, в самую короткую, до росы. Только тогда, иначе силы в ней нет. Так бабка моя говорила. Купальский это венок.

— Купала в июне, — сказал Ждан задумчиво. — А сейчас октябрь.

— То-то и оно.

Они посмотрели друг на друга. Ждан ничего не добавил, только убрал стебелёк в сумку, к цере. Ухват знал этот взгляд. Так купец режет зарубку на долговой бирке: долг записан, а спрашивать ещё рано. Вирник сделал себе зарубку и до поры её не трогал.

— Боярин, — сказал Ждан. — Ещё одно. Когда её нашли, что было при ней? Какие вещи?

— Рубаха. Венок. Больше ничего.

— Ничего? Ни перстня, ни серёг, ни бус? Боярская дочь.

Твердислав шагнул из темноты в свет фонаря. Лицо у него было страшное: серое, с запавшими глазами.

— Колт[20], — сказал он. — Серебряный. С птицей, с сирином. Я ей дарил, на шестнадцать лет. Она его не снимала. Никогда. Даже в баню. Его не было.

— Не было, — повторил Ждан. — Может, в реке потерялся?

— Может.

— А может, — сказал Ждан, — кто-то его взял.

Боярин смотрел на него долго.

— Найди, — сказал он. — Найди его, вирник. Того, кто взял. Найди, и я... — Он не договорил. Повернулся и пошёл вверх по ступеням, тяжело, будто нёс на плечах всю эту церковь.

Уже на пороге он обернулся.

— Три дня, — сказал он. — Тебе три дня. Потом я делаю, как сам знаю.

И вышел в туман.

Ждан долго стоял над коробом со льдом. Потом укрыл девушку полотном до подбородка, как укрывают спящих, и тихо сказал:

— Спи пока.

Отец Евстафий, весь дрожа, держал фонарь. Когда они поднялись наверх, на паперть, в мокрую туманную ночь, и Ухват уже пошёл вниз по тропе, поп вдруг ухватил Ждана за рукав. Пальцы у него были холодные, как у покойницы.

— Вирник, — зашептал он, и от него пахнуло брагой и страхом. — Вирник... Она ко мне не пришла.

— Кто?

---

[20] **Колт** — это женское головное украшение XI—XIII веков, представляющее собой парную полую металлическую подвеску, которая крепилась к головному убору на уровне висков.

— Любава. Перед свадьбой. Я ведь её крестил, вирник. Я ей поп, ей и матери её. А она ко мне к исповеди не пришла. В монастырь поехала. Почто? Почто ей в монастырь? Что ей там сказать надо было, чего мне не могла?

Ждан смотрел на него внимательно.

— А ты как думаешь, отче?

Евстафий открыл рот. И вдруг осёкся. Взгляд его метнулся куда-то вниз, в туман, к реке, туда, где за белой стеной, за лугами, за водой стоял монастырь, и сейчас, в этот самый миг, как нарочно, оттуда долетел далёкий, приглушённый туманом звон. Колокол бил к полунощнице.

Поп отпустил рукав.

— Ничего не думаю, — сказал он быстро. — Ничего. Я человек маленький. Бог с тобой, вирник. Иди.

И скрылся в церкви, и Ждан услышал, как изнутри лязгнул засов.

Ухват ждал его внизу, на тропе.

— Ну? — спросил он.

— Испугался, — сказал Ждан. — Чего-то знает, а чего — сам ещё не понял. Или понял, но боится себе признаться.

Они пошли вниз, к селу. Туман лип к лицу. Колокол за рекой отбил своё и замолк.

— Опоили, задушили, знак вырезали, венок купальский, колт пропал, — бормотал Ухват, загибая пальцы. — К исповеди в монастырь, после исповеди — как подменили, плакала, ставни закрывала. Подруги сельские. Знахарка Ярина. Рыбак Сбыня. Жданко, у меня пальцы кончаются.

— У меня тоже, — сказал Ждан. — Это хорошо. Значит, есть за что ухватиться.

— Ухватиться, — фыркнул Ухват. — Это ты на меня намекаешь?

— Это я на тебя надеюсь. Завтра пойдёшь в кабак.

Ухват остановился посреди тропы. В свете факела лицо его выразило такое глубокое и чистое счастье, какое бывает только у детей на Святки.

— Вот это, — сказал он с чувством, — служба. Вот за это я тебя, Жданко, и люблю. Князю служишь, а людям роздых даёшь.

— Не пей там много.

— Я? — оскорбился Ухват. — Я, Жданко, за правду пью. За княжью. Сколько правда потребует, столько и выпью. Ни ковшом больше.

— Этого я и боюсь, — сказал Ждан.

Ночью он долго не мог уснуть. Лежал на лавке в старостиной клети, слушал, как храпит у печи Ухват, и смотрел в темноту. Перед глазами стояла петля, перечёркнутая волной, и три точки под ней.

А за стеной, за плетнями, за лугами, в тумане, тихо дышала река. Ждан старался её не слышать. Но слышал всё равно.

Глава третья. Знахарка

Утро пришло серое и сырое, и туман не ушёл, а только поднялся. Теперь он висел над селом низким мокрым потолком, и из него сеялась мелкая морось, не дождь даже, а водяная пыль, от которой через минуту на бороде и на ресницах выступали капли.

Ждан проснулся затемно, как всегда. Ухват проснулся, когда его потрясли за плечо в третий раз, и сообщил, что видел во сне Ящера: тот сидел в кабаке и пил с ним мёд, и был, в общем, мужик неплохой, только зубы мешали.

— Вещий сон, — сказал Ждан. — Иди, исполняй.

— Рано ещё. Кабак до обеда не открывают.

— Значит, пойдёшь к рыбакам на берег, сети разбирать. Потом к бабам у колодца. Потом в кабак. Мне нужно всё: кто что видел, кто куда ходил, кто кого боится. Про девок. Про волхва. Про монастырь. Про боярина. И слушай больше, чем говоришь.

— Я всегда слушаю больше, чем говорю, — обиделся Ухват.

Ждан посмотрел на него.

— Ну, иногда, — уступил Ухват.

Прежде чем уйти, Ждан заглянул в клеть[21], где лежал избитый вчера рыбак.

Сбыня был мужик тощий, жилистый, с выдубленным ветром лицом и с бородой, в которой запутался рыбий чешуйчатый блеск, как будто он и спал в сетях. Грудь у него была перетянута Ухватовым полотенцем, левый глаз заплыл, и дышал он осторожно, неглубоко, как дышат с переломанными рёбрами. При виде вирника он попытался встать, охнул и сел обратно.

— Лежи, — сказал Ждан и сел на край лавки. — Я ненадолго. Спасибо сказать хотел.

— Мне? — Сбыня вытаращил здоровый глаз. — Мне-то за что? Это я тебе... Ты ж меня...

— Не за что меня благодарить. Это Ухват тебе рёбра щупал, ему и благодарность. А я тебе за другое спасибо скажу. За то, что ты им не сказал.

Сбыня замер.

— Не сказал чего?

— А того, что видел, — спокойно ответил Ждан. — В ту ночь. Когда боярская дочь пропала. Тебя ведь за то и били, Сбыня. Боярские прознали, что ты в ту ночь на реке был. Ты рыбак, а рыбаки ночью на реке бывают, когда не след. С лучиной, с острогой[22]. Лучить рыбу в боярских водах — за это тоже бьют. Вот ты и молчал: скажешь, что видел, придётся сказать, что сам там делал.

Здоровый глаз рыбака забегал.

— Не был я...

— Был, — мягко сказал Ждан. — Руки у тебя исколоты, острогу держал. На рубахе смола свежая, от лучины капала. А вчера, когда тебя били, ты всё кричал «не видал я, не видал», а тебя не про то спрашивали. Тебя спрашивали «кто к реке ходит». Кто не видал, Сбыня, тот так не кричит. Кто не видал, тот кричит «не знаю».

Сбыня долго молчал. Потом обмяк, и плечи его опустились.

— Ты, вирник, это... колдун, что ли?

— Хуже. Я из Владимира. — Ждан улыбнулся. — Не бойся. За лучение в боярских водах я с тебя не спрошу, то не моё дело. Моё дело — мёртвые. Что видел?

Рыбак облизнул разбитые губы. Покосился на дверь. Понизил голос до шёпота.

---

[21] **Клеть** — хозяйственное помещение при избе.

[22] Здесь описание старинного способа ночной рыбной ловли, который называется лучением.

— Лодку видал. Ночью, за полночь, туман был, вот как сейчас. Я у Чёрной старицы стоял, у самой протоки, с огнём, и огонь притушил, как плеск услыхал. Думал, боярские. А это лодка. Мимо меня прошла, саженях в десяти. На остров шла.

— Кто в лодке?

— Грёб один. Был один. Тихо так грёб, умеючи, вёсла без плеска в воду клал. Тёмный весь, в чём-то длинном, с головой. Лица не видать. А на дне лодки...

Сбыня сглотнул.

— На дне белело что-то. Длинное. Вот как человек лежит, если ему колени не сгибать.

— Ты потом что сделал?

— А что я сделаю? Лёг на дно своей долблёнки[23] и лежал, пока светать не стало. Молился. А утром Ярина её нашла, боярскую-то. На берегу, у Ящеровой заводи, напротив острова. — Сбыня передёрнулся. — Ящер это, вирник. Его слуга. Ящер сам из воды не выходит, у него слуги есть. Утопленники. Они ему невест возят.

— Утопленники на лодках? — Ждан приподнял бровь. — Им же проще вплавь.

Сбыня открыл рот и закрыл. Видно было, что такая мысль ему в голову не приходила.

— Лодка какая была? — спросил Ждан. — Долблёнка, как твоя? Или дощатая?

— Дощатая, — неуверенно сказал рыбак. — Большая. Не нашенская. У нас таких три на всё село: у старосты, у мельника да у боярина на усадьбе. Остальные долблёнки.

Ждан помолчал, запоминая.

— Спасибо тебе, Сбыня. Лежи. Ухват вечером ещё браги принесёт. Лечебной.

— Вирник, — позвал рыбак, когда Ждан уже был у двери. — Ты это... Ты боярским не сказывай. Про лучение.

— Не скажу, — пообещал Ждан. — Если ты боярским не скажешь про лодку. Никому не скажешь. Даже жене.

— Да я ж разве...

— Особенно жене, — сказал Ждан и вышел.

Изба знахарки стояла за селом, на отшибе, там, где луг переходил в болото. Это было правильное место для знахарки: подальше от людей, поближе к травам, к воде и к тому, чего люди боятся. Тропинка к ней шла через мокрую осоку, потом по гати из жердей, скользких и зелёных от мха. Ждан шёл по ней осторожно и думал, что тот, кто живёт здесь, не очень хочет, чтобы к нему приходили. Или очень хочет, чтоб приходили только те, кому действительно надо.

Изба была маленькая, низкая, вросшая в землю почти по окна. Крыша поросла мхом. Над дверью висел конский череп, а под стрехой гирлянды сушёных трав, такие длинные и густые, что изба казалась бородатой. У порога, на чурбаке, сидел здоровенный серый кот и смотрел на Ждана немигающими жёлтыми глазами. Смотрел так, как смотрит на нищего боярин, раздумывая, подать ли ему или спустить собак.

— Здравствуй, — вежливо сказал коту Ждан. — Хозяйка дома?

Кот не ответил. Но дверь открылась.

[23] **Долблёнка** — плоскодонная **лодка**, выдолбленная или выжженная из цельного ствола дерева.

Ярина была моложе, чем он ожидал. Лет двадцати, не больше, хотя взгляд был не по годам взрослым. Невысокая, худая, тёмноволосая, коса заплетена туго и убрана под платок. Лицо скуластое, неулыбчивое, с тонким прямым носом, а глаза серые и такие внимательные, что Ждану на миг стало неуютно. Будто не он пришёл её разглядывать, а она его. Руки у неё были в земле, а на рубаху надет кожаный передник, как у кузнеца.

Она посмотрела на него, на гривну, которую он опять спрятал, но не совсем, на его сапоги, промокшие на гати, и сказала:

— Вирник.

— Вирник, — согласился Ждан. — А ты, стало быть, Ярина. А это, стало быть, твой кот. Он меня не одобряет.

— Он никого не одобряет. — Ярина вытерла руки о передник. — Зачем пришёл?

— Поговорить.

— Говорить мне не о чем.

— Совсем не о чем? — Ждан удивился так искренне, что сам себе почти поверил. — А я слыхал, ты боярскую дочь из воды вынимала. И обмывала. И двух прежних девушек тоже. Мне сказали: если кто в Заречье что знает про мёртвых, так это Ярина. Неужто наврали?

Она помолчала. Потом посторонилась.

— Входи. Голову береги.

Ждан пригнулся, но всё равно задел макушкой связку чего-то сухого и колючего, и на него посыпалась труха. Кот за спиной, как ему показалось, фыркнул.

Внутри было тесно, тепло и пахло так, что кружилась голова: полынью, мятой, дымом, воском, болотом, мёдом и ещё десятком запахов, которых Ждан не знал. Весь потолок был увешан травами. На полках стояли горшки, корчажки, берестяные туески, и на каждом был нацарапан какой-то значок. В углу, на столе, лежала разделочная доска, на ней нож и горка свежих корешков. Печь топилась по-чёрному, и дым уходил через волоковое оконце под потолком.

Икон в избе не было. Ждан отметил это, но вслух не сказал.

Ярина села на лавку у стола и кивнула ему на чурбак напротив. Сама взяла нож и принялась резать корешки, быстро и ровно, будто его тут не было.

— Спрашивай, — сказала она, не поднимая глаз.

Ждан сел.

— Когда ты нашла Любаву, — начал он, — какая она была?

— Мёртвая.

— Это я догадался. А ещё?

Нож стучал по доске.

— На берегу лежала. У самой воды, ногами в воде, головой на песке. Будто вышла и легла отдохнуть. Руки сложены на груди. Венок на голове. Рубаха мокрая.

— А пена у рта была?

Нож на мгновение замер. Потом снова застучал.

— Не было.

— А вода? Ты её переворачивала? Вода из неё шла?

— Не шла.

— Ты это заметила, — сказал Ждан. — Ты знаешь, как выглядят утопленники. Ты их, верно, не раз вынимала, здесь река. И ты увидела, что она не утопленница. И полосу на шее увидела, когда обмывала. Не могла не увидеть.

Ярина положила нож и подняла на него глаза. В серых глазах не было страха. Была усталость и что-то ещё, тяжёлое, застарелое, давно лежащее на дне.

— Видела, — сказала она.

— И никому не сказала.

— А кому? — Голос её стал резким. — Боярину? Который мужиков на улице сапогами бьёт? Он бы меня первую и взял обвинять. Знахарка, мол, с нечистой силой знается, травы варит, к реке ходит — она и опоила. Попу? Поп от собственной тени крестится. Старосте? Староста виры боится больше смерти. Он бы мне сам рот заткнул, лишь бы село не платило. Кому мне было говорить, вирник? Ты пятый день как приехал? Нет. Ты вчера приехал.

— Я вчера приехал, — согласился Ждан. — А ты здесь живёшь. Справедливо. — Он помолчал. — Ну так теперь я приехал, и мне можно сказать.

— Почём я знаю, что тебе можно?

— А ты и не знаешь. — Ждан пожал плечами. — Я бы на твоём месте тоже не знал. Только ты, Ярина, меня в дом пустила. А могла бы и котом затравить. Значит, что-то тебе всё-таки сказать хочется.

Кот, который неслышно вошёл следом и уселся у печи, при этих словах посмотрел на Ждана с особенным презрением. Ждан встретил его взгляд.

— Вот он, — сказал Ждан, — точно знает, что мне ничего говорить нельзя. Смотрит, как Твердислав. Тоже, видать, из ростовских.

Губы Ярины дрогнули. Не улыбка, нет. Тень улыбки, мелькнувшая и сразу пропавшая. Но Ждан её видел.

Он достал из сумки сухой стебелёк из венка и тряпицу, в которую утром, в подклете, Ухват аккуратно собрал крошки с зубов покойницы. Развернул и положил на стол.

— Это у неё между зубами было. Мёд, а в нём трава. Ухват говорит, горькая. Я в травах не смыслю. А ты?

Ярина взяла тряпицу и поднесла к лицу. Растёрла крошку на пальцах. Понюхала. Лизнула кончиком языка и тут же сплюнула в сторону, в золу у печи. Лицо у неё стало сосредоточенным и жёстким.

— Сон-трава, — сказала она. — Прострел. Её весной копают. Ещё хмель. И мак.

— Мак?

— Маковое молочко. — Она отложила тряпицу и вытерла пальцы. — Его не всякий сварит. Маковую головку надрезают, пока зелёная, и сок собирают. Сон от него тяжёлый, и боль уходит. Дашь много — человек ходит как во сне, слышит, что велят, и делает, а сам ничего не понимает. Дашь ещё больше — и не проснётся.

— Где здесь берут мак?

Ярина помолчала.

— Здесь — нигде, — сказала она медленно. — У нас мак не родится, холодно. Его из-за моря везут. Из Царьграда, от греков. Во Владимире на торгу у купцов можно купить, если серебро есть. Дорого.

— А у тебя есть?

Она вскинула на него глаза. Ждан смотрел спокойно.

— Нету, — сказала она. — Откуда у меня серебро?

— Я и не думал, что есть. Спросить должен был. — Ждан убрал тряпицу. — Значит, кто-то купил мак за морем, сварил зелье на меду, со знанием сварил, не по-деревенски, и опоил боярскую дочь. Мужик из Заречья такого не сварит. Ты бы сварила. Кто ещё?

— Не знаю.

Это было сказано быстро, слишком быстро. Ждан отметил и это.

Он достал церу, вощёную дощечку, и положил на стол рядом с её рукой.

— И последнее. Вот этот знак был у неё на ладони. Видала такой?

Он смотрел не на дощечку. Он смотрел на Ярину.

Она опустила глаза на церу, на петлю, перечёркнутую волной, на три точки под ней. И в лице её что-то случилось. Очень быстро, в одно мгновение, так быстро, что, не смотри Ждан во

все глаза, он бы ничего не заметил. Кровь отхлынула от скул. Зрачки сузились. Пальцы правой руки, лежавшие на столе, судорожно сжались, будто схватили что-то невидимое.

И тут же всё прошло. Лицо стало прежним, усталым, непроницаемым.

— Не видала, — сказала Ярина ровно. — У других двух тоже такой был. Я видела, когда обмывала. А что за знак — не ведаю. Бесовский, поп говорит.

— Поп много чего говорит, — заметил Ждан.

Он убрал церу. Помолчал. За стеной шуршала морось. Кот у печи жмурился.

— Ярина, — сказал Ждан негромко. — Ты сейчас мне соврала. Я не знаю почему. Может, боишься. Может, кого бережёшь. Может, ещё что. Я не стану тебя пытать, как боярские пытали Сбыню. И Твердиславу не скажу. Только знай: убили уже троих. Будет и четвёртая. Тот, кто это делает, только начал.

Ярина встала. Подошла к двери и открыла её. В избу потянуло сыростью.

— Тебе пора, вирник, — сказала она.

Ждан поднялся, снова стукнулся головой о травы, отряхнулся и пошёл к двери. На пороге остановился.

— Ты ведь здесь не родилась знахаркой, — сказал он, не оборачиваясь. — Руки у тебя не деревенские, а речь чище, чем у здешних. Ты где-то жила, где-то училась. И вернулась. В эту избу, на болото. Зачем, Ярина? Что тебя сюда вернуло?

Долгая тишина.

— Уезжай, вирник, — сказала она за его спиной. Голос был тихий и почти не злой. — Уезжай во Владимир. Здесь тебе правды никто не даст. Здесь правду девять лет как в реке утопили.

Ждан медленно обернулся. Но дверь уже закрывалась, и последним, что он увидел, были жёлтые глаза кота в полумраке.

«Девять лет, — подумал он, идя назад по скользкой гати. — Девять лет».

Кабак в Заречье был, строго говоря, не кабак, а просто большая изба вдовы-медоварки Голубы. Вдова варила мёд и пиво, а мужики приходили к ней пить, когда жёны отпускали, а чаще когда не отпускали. Стояла изба у самой пристани, и пахло в ней рыбой, хмелем, мокрой овчиной и печёной репой.

Когда Ухват вошёл туда, за полдень, там сидели шестеро: трое рыбаков, бондарь, древний дед, который, судя по виду, сидел здесь со времён Владимира Красное Солнышко, и молодой парень с гуслями. При виде чужого все замолчали и уставились в свои кружки.

Ухват этого будто и не заметил. Он подошёл к Голубе, полной румяной бабе с руками, как у кузнеца, поклонился ей в пояс и сказал:

— Хозяюшка, свет мой ясный! Сказывали мне, что в Заречье лучший мёд от Владимира до самого Мурома, а я, дурак, не верил. А как вошёл да как понюхал... — Ухват закатил глаза. — Матушка, налей, Христом-Богом прошу, пока я от одного духа не помер!

Голуба фыркнула, но налила.

Ухват отпил. Замер. Закрыл глаза. Постоял так, покачиваясь, с лицом человека, которому явилась Богородица. Потом медленно открыл глаза, посмотрел на Голубу с такой бесконечной, такой нестерпимой нежностью, что та покраснела до ушей, и сказал хрипло:

— Вдова? Не верю. Не может быть, чтоб такая баба, да с таким мёдом, да одна. Куда мужики смотрят? Ослепли они у вас тут все?

Дед в углу закашлялся от смеха. Рыбаки переглянулись.

Через полчаса Ухват сидел за общим столом. Через час он поставил всем по второй. Через полтора отобрал у парня гусли и спел такую песню про попа и попадью, что дед свалился с лавки, а Голуба, хохоча, огрела Ухвата полотенцем. Через два часа рыбаки звали его «кумом», бондарь клялся в вечной дружбе, а Голуба поставила перед ним миску жареной рыбы и сказала, что денег не возьмёт.

И тогда Ухват, утерев слёзы смеха, сделался вдруг печальным.

— Эх, мужики, — сказал он, вертя в руках кружку. — Хорошо у вас. Душевно. А только страшно мне. Как въехали вчера, так и душа в пятки. Черепа на плетнях, полынь на воротах. Я ведь, кумовья, человек суеверный. Я нечисти боюсь пуще боярина.

За столом стало тихо.

— Ящер это, — сказал наконец один из рыбаков, сутулый, по имени Нечай. Сказал шёпотом, будто Ящер мог сидеть под лавкой. — Невест берёт.

— Да что ж это, — Ухват понизил голос. — Неужто и раньше брал?

Рыбаки переглянулись. Бондарь хотел что-то сказать, но промолчал. И тогда заговорил дед из угла, тот самый, древний, у которого было три зуба и голос, скрипучий, как старая дверь.

— Брал, — сказал дед. — Ещё как брал. Отец мой сказывал, при его деде каждое лето давали. Тогда и река тихая была, и рыба шла. А потом попы запретили. И Ящер долго молчал. А потом, девять годов тому, взял опять.

— Девять годов? — Ухват замер с кружкой у губ.

— Весняну, — сказал дед и пожевал губами. — Купальскую ночь. Девки на острове гадали, на Ящеровой гриве. Нельзя туда, все знают, что нельзя, а девкам что? Им любопытно. Поплыли, дурочки, венки пускать. Вернулись все, а Весняна не вернулась. Утром нашли. На том же самом месте, где сейчас боярышню нашли. У Ящеровой заводи, напротив острова.

— В белом? — спросил Ухват тихо.

— В белом, — кивнул дед. — В купальском. С венком.

— И знак на ладони?

Дед посмотрел на него мутными глазами.

— Про знак не ведаю. Не видал. Обмывали бабы, а бабы молчали. — Он помолчал. — Шуму тогда было. Отец её, кузнец, сам в реку полез, Ящера искать, с молотом. Так его потом самого выловили. Сердце разорвалось. А мать с ума сошла, долго не прожила. Одна младшая осталась, малая совсем, годов одиннадцати. Её потом тётка в Суздаль увезла.

— А теперь?

— А теперь вернулась, — сказал Нечай. — Ярина. Знахарка. На болоте живёт. Третий год как вернулась. Она и есть, Веснянина сестра.

Ухват медленно поставил кружку на стол.

— А на остров, — спросил он как бы между прочим, — кто теперь ходит?

— Никто, — сказал бондарь быстро.

— Волхв, — сказал Нечай одновременно с ним.

Они посмотрели друг на друга. Бондарь покраснел.

— Велимир, — нехотя сказал Нечай. — Старик. Живёт в лесу, за болотом. На остров плавает, к идолу. Требы кладёт. Мы его не трогаем, и он нас не трогает. Лечит, бывает. Скотину заговаривает. Боярские его ищут, а найти не могут. Лес он знает, как свою бороду.

— Он девок и взял, — сказала вдруг Голуба от печи, зло и громко. — Он, старый пёс. Для Ящера своего. Все знают.

— Ничего не знают, — буркнул дед. — Помолчи, баба.

— А монастырь? — спросил Ухват невинно. — У вас ведь тут монастырь рядом, сказывали. Монахи-то что? Не гонят нечисть?

— Монастырь, — рыбаки оживились, будто обрадовавшись, что разговор ушёл от Ящера. — Монастырь богатый. Спасский. Судиславичи построили, бояре владимирские, княжьи ближние. Монахов там с полсотни. Игумен старый, всё больше хворает. А всем там келарь заправляет. Брат Феогност.

— Добрый человек, — сказал Нечай с неожиданным теплом. — Святой. В голодный год, два лета тому, хлеб раздавал из монастырских амбаров. Даром. Деток лечит. Грамоте учит, кто хочет. И к нам, к мирским, не гордый.

— Не то что боярин, — проворчал бондарь.

— А боярин-то с монастырём, сказывают, не ладит? — забросил Ухват.

Рыбаки захохотали.

— Не ладит! Да они десятый год судятся! Монастырь у боярина заречные луга оттягивает. Говорит, это Судиславичи монастырю отписали, а боярин говорит — его, отцовские, дедовские. Князь всё рассудить не может. Или не хочет. Судиславичи князю свои, а боярин чужой.

— Вот оно что, — протянул Ухват.

Он допил мёд. Поставил кружку донышком вверх. Встал. Поклонился всем в пояс, а Голубе отдельно, ещё ниже.

— Спасибо, кумовья, за хлеб, за соль. А тебе, матушка, за мёд. Я ещё приду. Ты меня жди.

— Иди уж, балабол, — сказала Голуба, но покраснела опять.

Уже в дверях Ухват обернулся.

— А на ладони, говоришь, дед, не видал знака-то? У Весняны?

— Не видал, — сказал дед. — А тебе на что?

— Так, — сказал Ухват. — Для страху. Люблю я страшное.

И вышел, весело насвистывая, но, отойдя от кабака шагов на двадцать, перестал свистеть. Лицо у него было трезвое, совсем трезвое, хотя выпил он не меньше пяти кружек.

— Весняна, — сказал Ждан.

— Весняна, — сказал Ухват.

Они сидели в клети у старосты. Вечерело. Лучина трещала. Ухват ел вторую миску каши, ему после кабака всегда хотелось есть, и рассказывал. Ждан слушал, не перебивая, глядя в огонь.

Потом рассказывал Ждан. Про Сбыню и лодку. Про Ярину, про сон-траву и маковое молочко из-за моря. Про то, как она побелела при виде знака.

— Она знает этот знак, — сказал Ждан. — Знает и боится. И сказала: «Здесь правду девять лет как в реке утопили». Девять лет. Тогда я не понял. Теперь понимаю.

— Значит, Весняна была первая, — сказал Ухват. — Не три невесты, а четыре. Только между первой и второй девять лет прошло.

— Может быть. — Ждан повертел в пальцах сухой купальский стебелёк. — Купальская ночь. Девки на острове. Купальский венок. И теперь, девять лет спустя, на каждой мёртвой купальский венок. Посреди осени. Кто-то нарочно рвал траву в июне, Ухват. Именно в купальскую ночь. Сушил её. Хранил. Готовился. Он не сейчас начал. Он всё лето это задумывал.

— Или девять лет.

Ждан не ответил.

— Ярина, — сказал Ухват осторожно. — Жданко... А не может так быть, что это она? Сестру ей Ящер взял, отца с матерью сгубил. Вернулась мстить. Травы знает. Зелье сварит. Знак знает. Девок обмывала, всех троих, — вот следы-то и смыла, а?

— Может, — сказал Ждан. — Всё может. Только кому мстить, Ухват? Ящеру? Девки-то при чём?

Ухват почесал в бороде.

— Не знаю. Может, они с ней тогда на острове были. С Весняной. Может, бросили её там.

Ждан поднял голову и посмотрел на него долгим взглядом.

— Ухват, — сказал он. — Иногда ты меня пугаешь.

— Это я от мёда. Мёд у Голубы ядрёный.

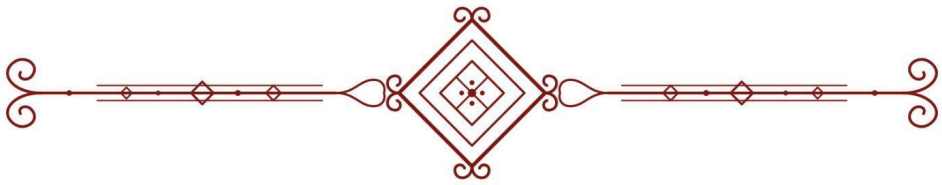
— Завтра ты опять пойдёшь к Голубе.

— Вот это служба! — сказал Ухват с чувством.

— А я поеду в монастырь, — сказал Ждан. — Любава после исповеди переменилась. Просилась ещё раз. Поп удивлялся, почто не к нему. А рыбаки говорят, в монастыре всем келарь заправляет, добрый, учёный. Брат Феогност. Вот и спрошу у учёного человека, может, знает он, что за знак такой. И кто в монастыре исповедует боярских дочерей.

— А тайна исповеди?

— Тайна исповеди, — сказал Ждан, — это для попов. А я не поп. Я спрошу не что она сказала. Я спрошу, как она уходила. Это разные вещи.



Ночью Ухват вышел до ветру.

Туман снова лёг. Луны не было, звёзд тоже, и Ухват постоял на крыльце, привыкая к темноте, потом спустился и пошёл за угол, к плетню, откуда был виден склон и луг внизу и, совсем далеко, река.

И на реке был огонёк.

Маленький, слабый, тёплый, он плыл по чёрной воде медленно, как плывёт по течению щепка. За ним второй. Третий. Ухват смотрел, раскрыв рот. Огоньки плыли один за другим, вереницей, к острову, и туман вокруг каждого светился мутным жёлтым пятном.

А на берегу, у самой воды, стояла фигура. Белая, тонкая, недвижная. Женская. Длинные волосы распущены по плечам. Она стояла и смотрела вслед огонькам, и Ухвату показалось, что она поёт, тихо, едва слышно, без слов. Или это ветер в осоке.

Ухват перекрестился. Потом схватился за медвежий зуб. Потом опять перекрестился. Потом попятился, не отрывая глаз, наткнулся спиной на плетень, ойкнул, и когда снова посмотрел, на берегу уже никого не было. Только огоньки ещё плыли, всё дальше и дальше, и гасли по одному.

Он вернулся в клеть белый, как та фигура, и растолкал Ждана.

— Жданко. Жданко! Русалка!

Ждан приподнялся на локте и посмотрел на него в темноте.

— Где?

— На берегу! Белая! Волосы до пояса! Стоит, поёт, а по реке огни плывут! К острову! А потом раз — и нету её!

Ждан помолчал.

— А чешуя у нее была?

— Чего?

— Чешуя. У русалок чешуя. Ты видел, кожа или чешуя?

Ухват задумался. Честно задумался, сморщив лоб.

— Вроде кожа, — сказал он неохотно. — Кажись. Была кожа.

— Ну так и спи, — сказал Ждан и отвернулся к стене. — Русалки с кожей в Заречье называются знахарками. Она сестру поминала. Огоньки по воде пускала, свечки на дощечках. Купальская ночь у неё, Ухват. Девять лет как не кончается.

Ухват долго стоял посреди клети. Потом лёг на лавку и натянул на голову тулуп.

— Всё равно русалка, — пробормотал он из-под тулупа. — Хоть с чешуей, хоть без.

Ждан не ответил. Он лежал лицом к стене, с открытыми глазами, и думал о том, кто ещё мог в эту ночь стоять у реки в тумане и смотреть, как Ярина поминает сестру.

И сколько их осталось. Тех, кто девять лет назад плавал на остров.

Глава четвёртая. Келарь

Монастырь стоял за рекой.

Ждан знал это и вчера, и позавчера, и ещё во Владимире, когда князь, водя пальцем по карте, сказал: «Вот Заречье, а вот Спасский монастырь на Луже, Судиславичи ставили, богатый». Знал и всё равно, когда утром спустился к перевозу и увидел реку вблизи, широкую, серую, в оспинах мороси, с белыми космами тумана над стрежнем, почувствовал, как внутри что-то медленно и холодно сжимается.

Перевоз держал старик Кудим, сухой, как вобла, с бородой, заткнутой за пояс, чтоб не мешала. Паром у него был широкий, на толстых брёвнах, и ходил по канату, натянутому между берегами. Кудим перебирал канат руками, а паром полз по воде, медленно, тяжело, поскрипывая, как старая телега.

— Коня оставь, — сказал Кудим. — На том берегу дойдёшь, там близко. Конь на пароме бьётся, не любит воду.

— Понимаю его, — сказал Ждан.

Он ступил на паром. Брёвна под ногами качнулись, и в щели между ними плеснула вода, тёмная, холодная. Ждан встал посередине, подальше от краёв, взялся рукой за перила и улыбнулся Кудиму той особенной беззаботной улыбкой, какой улыбаются люди перед тем, как им будут рвать зуб.

— Ну, с Богом, — сказал он.

Кудим посмотрел на него, на его руку на перилах и усмехнулся в бороду, но ничего не сказал.

Паром отвалил от берега. Вода зашептала под брёвнами. Берег позади начал отдаляться, неторопливо, неумолимо, и очень скоро между ним и Жданом было уже столько серой воды, что не допрыгнешь. А впереди другой берег ещё прятался в тумане.

Ждан смотрел на Кудима. Только на Кудима. На его жилистые руки, перебирающие мокрый канат, на его заткнутую за пояс бороду. На что угодно, только не на воду.

— Давно перевозишь? — спросил он. Голос был почти ровный.

— Тридцать годов, — сказал Кудим. — И отец мой перевозил. И дед.

— И не боишься?

— Чего бояться? Река — она река. Её уважать надо, а бояться — нет. Бояться будешь — она почует. — Старик подмигнул. — Как собака.

— Утешил, — сказал Ждан.

Посреди реки, на стрежне, течение было сильнее. Паром заскрипел, канат натянулся и задрожал, и брёвна под ногами накренились, совсем немного, на ладонь. Ждан почувствовал, как у него немеют пальцы на перилах. Перед глазами вдруг, ни с того ни с сего, встала другая река. Маленькая, летняя, солнечная, с жёлтой кувшинкой у самого берега. И маленькая белобрысая голова, которая тянулась к этой кувшинке, тянулась, тянулась...

— Мельник наш, Ольгерд, лодку потерял, — подал внезапно голос Кудим.

Ждан моргнул. Солнечная река пропала.

— Что?

— Лодку, говорю, у мельника свели. — Кудим перехватил канат. — Дощатую, большую, новую. Ещё летом сам строил. На прошлой седмице стояла у мельницы на привязи, а утром глядь — нету. Верёвка обрезана. Он теперь всем плачется. Ко мне приходил, спрашивал, не видал ли. А я что? Я перевозчик, не сторож.

— Это когда было? — спросил Ждан, и голос его стал совсем другим, деловитым и острым. — В какую ночь?

Кудим подумал.

— Да как раз в ту. Когда боярышню нашли. Вот ведь, думаю, совпало. Мельник даже кричал, что Ящер и лодку забрал, невесту на ней увёз. Ну, мельник — он дурак.

— Ящер на лодке, — сказал Ждан задумчиво. — Второй раз уже слышу. Удобно как Ящеру. И плавать не надо.

Кудим хмыкнул. А Ждан вдруг заметил, что они уже миновали стрежень, что паром снова идёт ровно и что из тумана впереди выступает низкий, заросший ивняком берег. Он разжал пальцы на перилах. Они болели.

— Спасибо тебе, Кудим, — сказал он. — Ты, сам того не зная, меня сейчас очень выручил.

— Чем это? — удивился старик.

— Разговором, — сказал Ждан. И это была правда, хотя Кудим так её и не понял.

Монастырь открылся сразу за прибрежной рощей, на пологом холме посреди заливного луга, того самого, из-за которого судились Твердислав и Судиславичи. Стены были деревянные, из толстых, ещё не потемневших брёвен, с крепкими воротами и рубленой башенкой над ними. Над стенами поднимались крыши келий, трапезной, амбаров и деревянная главка старой церкви. А рядом с ней, в лесах, обнесённая подмостями, росла новая, белокаменная. Росла пока только по пояс, но уже было видно, что будет она высокой, стройной и белой, как владимирские храмы.

У ворот Ждана встретил привратник, молодой монашек с прыщавым лицом. Он долго глядел на гривну, долго кланялся и наконец повёл через двор.

Двор был полон жизни. Это поразило Ждана после мёртвого, запертого Заречья. Здесь стучали топоры, визжали пилы, перекликались каменщики на лесах. Монахи в чёрных подрясниках таскали вёдра, кололи дрова, гнали гусей. Пахло свежей стружкой, тёплым хлебом из пекарни, известью и ладаном. Звонил колокольчик, созывая кого-то куда-то. Чёрный кот грелся на крыльце трапезной. Всё было деловито, мирно, благополучно и богато.

Игумен Варсонофий принял его лёжа. Это был ветхий старик, ссохшийся до размеров ребёнка, с прозрачной кожей и белой бородой на одеяле. Он болел, по словам привратника, уже третий год и всё никак не мог ни выздороветь, ни умереть. Голос у него был тихий, как шелест сухого листа.

— Вирник... — прошелестел он. — Да... Знаю. Горе. Великое горе. Молимся... Каждый день молимся... — Он закашлялся, долго, мучительно. — Не обессудь, сын мой... Плох я... Ступай к брату Феогносту. Он всё знает. Он всем ведает. Он... добрый... — Глаза его закрылись. — Добрый...

Келарь был в травнице.

Травница стояла в глубине двора, за огородом, отдельной избой, длинной и низкой. Над дверью висел деревянный крест, а под стрехой, как у Ярины, гирлянды сушёных трав. Только здесь гирлянды были ровные, аккуратные, развешанные по порядку, и под каждой висела берестяная бирочка с надписью.

Дверь была открыта. Ждан остановился на пороге.

Внутри было светло: три окна, затянутые бычьим пузырём, и ещё одно, маленькое, со вставленным в раму настоящим стеклом, зеленоватым, мутным, драгоценным. Вдоль стен шли

полки до потолка, на полках стояли ряды глиняных и деревянных сосудов, и на каждом тоже бирка. На большом столе посередине лежали весы с медными чашками, ступки, ножи, пучки трав, и ещё, у окна, отдельно, на подставке, стояла раскрытая книга с тёмными, плотными строками. Большая, в кожаном переплёте, с застёжками.

Над книгой склонился монах. Высокий, худой, в простом чёрном подряснике, перехваченном кожаным поясом. Волосы тёмные, с ранней проседью, собраны сзади в узел. Он читал, водя пальцем по строке, и губы его чуть шевелились.

Ждан стоял на пороге и смотрел на книгу. Он узнал её. Не саму книгу, а то, как бегут строки, как стоят над буквами знаки ударений и придыханий. Он не видел такой книги семь лет, с тех пор как умер его старый учитель, епископ Нестор, и все его книги увезли в Ростов.

— Гален[24], — сказал Ждан вслух, не удержавшись. — «О простых лекарствах». Список греческий. Ты, отче, по-гречески читаешь?

Монах выпрямился и обернулся.

Лицо у него было удлинённое, тонкое, с высоким лбом и впалыми щеками, лицо постника. Борода короткая, с ранней сединой. На вид лет тридцать пять, а может, и больше: такие лица до срока старят посты и бессонные ночи. А глаза светлые, тёплые, с лучиками морщин в уголках, какие бывают у людей, которые много улыбаются. Сейчас они смотрели на Ждана с живым, почти детским удивлением.

— А ты, сын мой, по-гречески узнаёшь, — сказал он. Голос был негромкий, глубокий, приятный, такой голос хорошо слушать в церкви. — Это редкость. Во всём Заречье, да что Заречье, во всей этой земле до самого Владимира, ты первый, кто узнал Галена. Ты, верно, вирник?

— Вирник, — сказал Ждан. — Ждан, сын Власов.

— Брат Феогност. — Монах слегка поклонился. — Келарь[25] этой обители, грешный и недостойный. Прости, что сам не встретил. Отец игумен велел привести тебя, как приедешь, а я, видишь, зачитался. Входи же, входи. Садись. Ты с дороги, через реку, по сырости. Сбитня горячего?

— Не откажусь.

Феогност отошёл к печке, где на углях стоял горшок, и налил в глиняную кружку тёмного, пахучего, горячего. Протянул Ждану. Рукав подрясника съехал, и на мгновение на запястье, на тыльной стороне, мелькнул старый бледный шрам, неровный, звёздчатый, как от давнего ожога или от глубокого пореза. Мелькнул и спрятался под чёрной тканью.

Ждан взял кружку и благодарно отхлебнул. Сбитень был отличный: мёд, мята, зверобой, что-то ещё пряное, заморское.

— Ты учился у греков, — сказал Феогност, садясь напротив. Это был не вопрос.

— У епископа Нестора, во Владимире. Мальчишкой прислуживал, а он меня читать заставил. Говорил, у меня голова как решето: всё держит, что не нужно, а что нужно, вываливается. Пришлось набивать потуже.

Феогност рассмеялся. Смех у него был лёгкий, искренний.

— Нестор! Я его помню. Строгий был старик. И мудрый. Я однажды слышал его проповедь о Иове, лет двенадцать назад, во Владимире. Никогда не забуду. — Он покачал головой. — Он умер, я слышал?

— Семь лет как.

---

[24] **Клавдий Гален** — древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения.

[25] **Келарь** — это монах или должностное лицо в монастыре, которое отвечает за хозяйственную часть, хранение и распределение припасов.

— Царство небесное. — Феогност перекрестился. — Значит, мы с тобой, вирник, почти земляки по духу. Редко здесь встретишь человека, с которым можно говорить о чём-то, кроме урожая и бесов. Ты не представляешь, как я рад.

Ждан, к своему удивлению, понял, что тоже рад. Он не говорил по-гречески семь лет. Он не говорил ни с кем о книгах с тех пор, как умер Нестор. Ухват был хорош во многом, но Галена он считал заморской рыбой.

Они проговорили, наверное, полчаса, а может, и час. О Галене и Диоскориде[26]. О «Шестодневе» Иоанна экзарха[27], который Феогност знал чуть не наизусть, и о «Стратегиконе»[28], который Ждан знал лучше, чем Феогност. О Козьме Индикоплове[29], который уверял, что небо стоит над землёй, как крышка над сундуком, и о том, прав ли он. О том, что на Руси книг мало, а читающих ещё меньше. О новой церкви, которую строят Судиславичи, и о каменщиках, которых князь Андрей выписал откуда-то с Запада. Феогност говорил легко, остроумно, с мягкой насмешкой, и Ждан ловил себя на том, что улыбается.

Потом Ждан поставил пустую кружку на стол.

— Отче, — сказал он. — Я ведь не о Галене приехал говорить. Хотя, видит Бог, говорил бы и говорил.

Лицо келаря сразу изменилось. Улыбка ушла, глаза потемнели.

— Знаю, сын мой. Любава. — Он вздохнул. — И те две бедные девушки до неё. Мы молимся за них каждый день. Отец игумен велел служить по ним заупокойную каждую субботу. Страшное дело. Страшное.

— Ты её знал?

— Знал. — Феогност сложил на столе длинные пальцы. Пальцы были в чернильных пятнах и в зелёных травяных разводах. — Я исповедовал её, вирник. Ты ведь это хотел спросить? Отец игумен болен, давно не исповедует. Мирских, кто приходит, исповедую я.

Он сказал это просто, глядя прямо, и Ждан, который приготовил три разных хитрых способа подвести к этому разговор, вдруг почувствовал себя как человек, навалившийся плечом на дверь, а дверь оказалась открытой.

— Тайну исповеди я тебе не открою, — продолжал Феогност мягко. — Не могу. И ты, человек книжный, сам понимаешь почему.

— Понимаю, — сказал Ждан. — Я и не прошу. Я прошу другого. Не что она сказала. А какая она была. Пришла какая. Ушла какая.

Феогност помолчал.

— Пришла в смятении, — сказал он медленно, как будто выбирая слова. — Она готовилась к свадьбе. А девушки перед свадьбой, особенно такие, нежные, книжные (она ведь читала, ты знал? отец её учил, редкость для боярышни), такие девушки часто... — Он запнулся. — Как бы тебе сказать, не преступая... Она боялась. Не свадьбы, нет. Себя. Того, что было прежде. Знаешь, бывает у девушек... сердечное. То, что не по отцовской воле. Грех, который девушке кажется страшнее, чем он есть.

— Любовь, — сказал Ждан.

Феогност не ответил. Он только чуть заметно опустил веки, и это было больше, чем ответ.

— А ушла?

---

[26] **Педаний Диоскорид** — древнегреческий военный врач, фармаколог и натуралист.

[27] **Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского** — славянский экзегетический религиозно-философский и богословский памятник, написанный болгарским экзархом Иоанном и излагающий православное толкование библейского учения о мироздании.

[28] **Стратегикон** — это византийский военный трактат конца VI — начала VII веков, считающийся главным памятником военной науки Византии.

[29] **Козьма Индикоплов** — византийский купец из Александрии, путешественник, писатель и богослов VI века, ставший в конце жизни монахом.

— Ушла спокойнее. Утешенная, надеюсь. Я сказал ей, что нет греха, которого не простил бы Господь, если покаяться. — Келарь вздохнул. — Но, видно, утешил я плохо. Я слышал, она просилась вернуться. Ещё раз. Я ждал её. Она не пришла. А потом...

Он развёл руками и замолчал.

— А потом её нашли в реке, — сказал Ждан.

— А потом её нашли в реке.

Ждан смотрел на свои руки. «Сердечное, — подумал он. — То, что не по отцовской воле. Любовь до свадьбы, тайная. К кому? Жених, сын ростовского тысяцкого, которого она видела два раза? Едва ли. Кто-то другой. Кто-то здешний. Кто-то, кто не хотел, чтобы она выходила замуж».

Это была хорошая, крепкая, понятная нить. Ждан сделал себе зарубку, как на долговой бирке, рядом с прежними. Зарубок набиралось уже много.

— Отче, ещё одно, — сказал он. — Её опоили перед смертью. Сон-трава, хмель и маковое молочко на меду. Я не лекарь. Ты лекарь. Скажи: кто в здешних местах может такое сварить?

Если бы он ждал смущения, заминки, отведённых глаз, он бы их не дождался. Феогност задумался, честно и сосредоточенно, как думают над трудной задачей.

— Маковое молочко, — повторил он. — Это непросто. Мак не здешний, его везут из Царьграда через Киев, через Смоленск. Дорогое снадобье. У нас в обители есть. — Он кивнул на полку. — Вон там, видишь, в запертом ларце. Ключ только у меня. Мы даём его болящим, когда боль нестерпима, умирающим, роженицам, если тяжело идёт. Немного. По капле. — Он помолчал. — Однажды я давал его здешней знахарке, Ярине. Весной. У неё роженица мучилась вторые сутки. Она пришла ко мне ночью, через реку, просила. Я дал. Немного, на один раз. Больше она не приходила. Но...

Он не договорил. Посмотрел на Ждана печально и серьёзно.

— Но умный человек может, раз попробовав, понять, что это такое, и найти, где взять ещё, — закончил Ждан.

— Я этого не говорил, — тихо сказал Феогност. — И не думаю. Ярина хорошая знахарка и несчастная женщина. Ты знаешь её историю?

— Немного.

— Тогда ты понимаешь, что ей и без меня тяжело. — Келарь покачал головой. — Нет. Я просто ответил на твой вопрос, вирник. Ты спросил, кто здесь может сварить такое зелье. Отвечаю честно: я могу. И она могла бы. Больше в округе никто.

Ждан посмотрел на него с невольным уважением. Человек, который на вопрос «кто мог?» первым называет себя, такой человек либо очень честен, либо очень глуп. А глупым брат Феогност не был.

— Спасибо, отче, — сказал Ждан. — Тогда последнее.

Он достал церу и положил на стол.

Феогност наклонился над ней. Долго смотрел на петлю, перечёркнутую волной, на три точки. Взял дощечку в руки, поднёс к свету, к стеклянному окну. Повернул так, потом эдак.

— Это было у неё на ладони, — сказал Ждан.

— Я знаю, — тихо ответил Феогност, не отрывая глаз от церы. — Слышал. У всех трёх. Народ говорит — Ящерова печать.

— Ты видал такой знак?

Келарь медленно положил церу на стол.

— Видал, — сказал он. — Не совсем такой. Похожий. — Он поднял на Ждана глаза. — Ты знаешь, кто жил здесь до славян, вирник? До того как пришли кривичи и вятичи, до того как Владимир Святой крестил Русь?

— Меря[30], — сказал Ждан.

— Меря. Тихий лесной народ. Их уже почти не осталось: кто крестился, кто ушёл, кто растворился в славянах. Но кое-где, в глухих местах, в лесах, ещё живут их потомки. И кое-где ещё помнят их старых богов. — Феогност коснулся пальцем петли на цере. — У мери был бог воды. Не Ящер, они его звали по-своему. Но суть та же. Владыка омутов. Ему отдавали жертвы. И знаки его вот такие: петля — это его пасть, или его кольцо, кольцо брачное, если хочешь. Волна — вода, его царство. А точки...

Он помолчал.

— Три точки — это число жертв. Сколько он взял, или сколько ему должны.

В травнице стало тихо. Только потрескивали угли в печи.

— Здешний волхв, Велимир, — продолжал Феогност негромко. — Он из мери. Последний из них, может быть. Его дед был жрецом, и отец, и он. Он знает эти знаки. Больше их никто не знает.

Ждан молчал.

— Я не говорю, что это он, — сказал келарь, и голос его стал печальным. — Видит Бог, не говорю. Я знаю его. Он приходил ко мне однажды, давно, за лекарством для своей старухи, пока она была жива. Мы говорили. Он не злой человек, вирник. Он заблудший. Последний из своего народа, последний из своей веры. Ему страшно и одиноко, он видит, как мир, который он знал, уходит, рушится, и нет больше ни его богов, ни его людей. Такие люди иногда... — Он не договорил.

— Иногда пытаются этот мир удержать, — сказал Ждан. — Любой ценой.

— Иногда, — тихо согласился Феогност. — Мне его жаль. Если это он, мне его очень жаль. Но девушек жаль больше.

Ждан взял церу, посмотрел на неё ещё раз и убрал в сумку. Потом встал.

— Спасибо тебе, отче. Ты мне очень помог.

— Я рад. — Феогност тоже встал. — Ты ведь назад, в Заречье? Через реку?

— Через реку, — сказал Ждан, и что-то в его голосе, наверное, было, потому что келарь посмотрел на него внимательно.

— Кудим уже, верно, ушёл обедать, — сказал Феогност. — Он в полдень всегда уходит, паром до вечера на том берегу стоит. Ты его не докричишься. — Он улыбнулся. — Но не беда. Мне и самому надо в Заречье, к болящему. У обители своя лодка. Я тебя перевезу.

Ждан хотел отказаться. Хотел сказать, что подождёт Кудима, что ему не к спеху, что у него ещё дела в монастыре. Но Феогност уже снимал с крюка плащ, уже закидывал на плечо котомку с травами, уже открывал дверь, и Ждан, к собственному удивлению, пошёл за ним.

Лодка у монастырской пристани была небольшая, дощатая, крепкая, выкрашенная тёмной смолой. Феогност сел на вёсла сам, отослав послушника, который подбежал было помочь. Ждан сел на корму. Лодка качнулась под ним, и он вцепился обеими руками в борта.

— Держись крепче, — сказал Феогност, отталкиваясь веслом от пристани. — И смотри на меня. Не на воду. На меня.

Ждан поднял на него глаза.

— Ты боишься воды, — сказал келарь. Не спросил, а сказал, мягко и просто, как лекарь говорит больному о его хвори. — Я видел, как ты на неё смотрел. Вернее, как не смотрел. Давно это у тебя?

Ждан помолчал. Лодка выходила на открытую воду. Берег отдалялся.

— С детства, — сказал он наконец.

---

[30] Меря (меряне) — древнее летописное финно-угорское племя, населявшее лесные просторы Верхнего Поволжья (территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской, Московской и Костромской областей).

Он не знал, почему сказал. Он никому не говорил, кроме Ухвата, и то спьяну. А сейчас сказал. Может, потому что голос у келаря был такой, что ему хотелось отвечать. А может, потому что вода вокруг была слишком близко и надо было что-то говорить, всё равно что, только не молчать.

— Брат, — сказал Ждан. — Младший. Мне было десять, ему шесть. Летом, в жару. Я должен был за ним смотреть. Я читал. Он полез за кувшинкой. Там омут был, у берега. Я не слышал даже. Он не кричал. Когда тонут не кричат, знаешь? Это в сказках кричат, зовут на помощь. А по правде тихо.

Вёсла поднимались и опускались. Ждан слышал их едва-едва: они входили в воду почти без плеска, и он был за это благодарен, потому что от плеска ему делалось дурно.

— Знаю, — сказал Феогност тихо. — Они не кричат. — Он грёб ровно, неторопливо, глядя на Ждана, а не на реку, будто реку видел и так, спиной. — Я тоже боялся воды, вирник. Когда был сильно молод. Очень боялся. А потом нашёл себе псалом. Шестьдесят восьмой. «Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея». Читал его каждую ночь, пока он не стал читаться сам. Вода ведь не мстит, Ждан. Она только ждёт. Как совесть. Бояться её — это всё равно что бояться собственной совести.

— И ты перестал бояться?

Феогност улыбнулся. Улыбка у него была грустная.

— Я научился с ней жить, — сказал он. — Это не одно и то же.

Туман над стрежнем сомкнулся вокруг лодки. Берегов не стало видно. Были только серая вода, серый туман, мерно поднимающиеся вёсла и тонкое бледное лицо келаря напротив. Ждан смотрел в это лицо и почему-то не мог отвести глаз. А потом лодка ткнулась носом в песок, и туман расступился, и это был заречный берег, ивы, мокрые мостки, и наверху, на откосе, крыши села.

И по откосу, спотыкаясь, размахивая руками, сбегал вниз Ухват.

— Жданко! — орал он издалека. — Жданко, вот ты где! Я тебя с полудня ищу! Слушай! Голуба мне сказала! Я всё узнал!

Ждан выбрался из лодки на мостки. Ноги держали плохо, но держали.

— Тише, — сказал он.

Но Ухват уже подбежал, красный, запыхавшийся, пахнущий мёдом, и, не видя ничего вокруг, ни келаря в лодке, ни того, что Ждан делает ему глазами, выпалил:

— Девки! Те, что тогда, девять лет назад, с Весняной на остров плавали! Голуба знает, у неё сестра младшая с ними водилась! Пятеро их было, неразлучные! Малуша, Горислава — это ж первые две мёртвые, Жданко! И Любава! Боярская дочка, она ж тут росла! И ещё одна, четвёртая. Цветана. Она теперь за мельником замужем, за Ольгердом. Мельничиха. Живая. Пока...

Он осёкся. Увидел наконец лодку. Увидел чёрный подрясник, бледное лицо, светлые глаза, внимательно и спокойно на него смотрящие.

— Ох, — сказал Ухват. — Мир тебе, отче. Я тут... это... болтаю.

— И тебе мир, сын мой, — мягко сказал Феогност. Он легко поднялся в лодке и одним шагом перешёл на мостки, будто лодка под ним и не качалась. — Ты, верно, Ухват? Наслышан. В монастыре уже знают, что вирник приехал не один. — Он улыбнулся. — Говорят, ты поёшь хорошо.

— Пою, — растерянно сказал Ухват. — Бывает.

— Приходи как-нибудь в обитель. Споёшь нам. Только что-нибудь пристойное. — Келарь повернулся к Ждану и поклонился. — Спасибо за беседу, вирник. Давно мне не было так хорошо. Приезжай ещё, и поговорим о Галене. А теперь прости, меня ждёт болящий.

Он перекрестил их обоих, повернулся и пошёл вверх по откосу. Шёл легко, неторопливо, придерживая котомку на плече, и чёрный подрясник его скоро слился с серым туманом, а потом пропал.

Ухват смотрел ему вслед.

— Это кто? — шёпотом спросил он.

— Келарь, — сказал Ждан. — Брат Феогност.

— Тот самый? Святой? Что хлеб раздавал?

— Тот самый.

— Хороший, видать, человек, — неуверенно сказал Ухват. — Голос какой. Как у Богородицы на иконе. — Он помолчал и почесал в затылке. — Жданко, я, кажись, при нём лишнего наболтал?

— Наболтал, — сказал Ждан.

— Да ведь монах же. Святой человек.

— Святой, — согласился Ждан. — Ты сам при святом человеке назвал имя, которое знать не надо никому. А он теперь знает. И Голуба знает. И сестра её знает. И кто ещё у Голубы в кабаке сидел, тоже знает. Ухват, если и мы с тобой смогли узнать, кто те пятеро были, то и он смог. Тот, кто убивает. Давно уже смог.

Ухват побледнел.

— Пятеро? Ты сказал — пятеро. А я назвал четверых.

— Ты назвал четверых, — сказал Ждан. — Малуша. Горислава. Любава. Цветана. А кто пятая, Ухват? Голуба сказала, что их было пятеро. Кто пятая?

Ухват открыл рот. Подумал. И медленно, неуверенно, будто сам не веря, сказал:

— Голуба говорит, Ярина тогда с ними просилась, малая. Её не брали, гоняли. Малая была. Сестра Веснянина.

— Не брали, — повторил Ждан. — А она, видно, всё равно пошла. Тайком. Следом. Как все младшие сёстры ходят за старшими.

Они стояли на мостках, у серой реки, в тумане.

— Цветана, — сказал Ждан. — Пойдём к мельнице. Сейчас.

Они пошли вверх по откосу, тем же путём, каким ушёл келарь. Ждан шёл быстро, почти бежал, и Ухват, отдуваясь, едва поспевал за ним.

И только на середине подъёма Ждан вдруг замедлил шаг. Нахмурился. Что-то царапнуло его изнутри, мелкое, незначительное, как заноза, которую не видишь, а только чувствуешь.

Феогност сказал: «Меня ждёт болящий».

Он не сказал, какой болящий. Где. В чьём доме.

Ждан оглянулся. Туман лежал на селе сплошной белой пеленой, и в нём не было видно ничего. Ни келаря, ни его котомки, ни следов на мокрой траве.

Ничего.

— Жданко, ты чего встал? — Ухват налетел на него сзади.

— Ничего, — сказал Ждан. — Пустое. Пойдём.

И они пошли к мельнице.

Глава пятая. Мельница

Мельница стояла ниже села, там, где в Клязьму впадал ручей Мельничный, быстрый, тёмный, с ледяной водой из лесных ключей. Ручей был перегорожен плотиной из брёвен и земли, за плотиной разлился пруд, затянутый ряской, а у плотины ворочалось огромное водяное колесо. Ворочалось медленно и устало, со скрипом и вздохами, будто живое, будто старый вол, которому давно пора на покой. Вода падала с лопастей тяжёлыми прозрачными пластами и гудела в лотке.

Ухват, подходя, плюнул трижды через левое плечо и схватился за куриного бога.

— Ты чего? — спросил Ждан на ходу.

— Мельница, — коротко сказал Ухват, будто это всё объясняло. Потом, видя, что Ждан ждёт, неохотно добавил: — Под каждой мельницей водяной живёт. Мельник с ним уговор имеет, иначе колесо не пойдёт. А какой уговор, тебе лучше не знать. Мельники, Жданко, все колдуны. Это всякий скажет.

— Хорошо, что предупредил, — сказал Ждан. — Буду осторожен. Если мельник предложит мне продать душу, я сперва спрошу цену.

Двор у мельницы был большой и крепкий: изба-пятистенок с резными наличниками, амбар, конюшня, сарай для мешков. Всё добротное, сытое, зажиточное. Мельник в селе всегда богаче всех, кроме, может, старосты. Перед избой на пне сидел дюжий рыжебородый мужик в посыпанном мукой фартуке и с ожесточением строгал ножом какую-то палку, будто вымещал на ней злобу.

При виде чужих он вскочил.

— Кто такие? Чего надо?

— Вирник, — сказал Ждан, — княжий. А ты, видать, Ольгерд. Мельник.

Ольгерд был могуч, широк, светлоглаз и, судя по имени и по тому, как он коверкал слова, варяжских кровей. Дед, верно, пришёл с какой-нибудь дружиной, да так тут и осел, и внук его давно стал здешним, но имя и выговор остались. При слове «вирник» мельник расправил плечи и шагнул вперёд с видом человека, которого наконец-то услышали.

— Вирник! — загремел он. — Наконец! Наконец князь услышал! Лодку мою свели! Новую! Сам строил, всё лето строил, смолил, конопатил! Три гривны за доски отдал! А какой-то вор... Или Ящер, будь он проклят... Верёвку перерезал и увёл! Найди мне лодку, вирник! Найди, и я тебе... я тебе мешок муки дам! Два мешка!

— Найду, — пообещал Ждан, не моргнув глазом. — Обязательно найду. Ухват, запиши: лодка мельника.

— Записал, — сказал Ухват, ничего не записывая.

— Но сначала, Ольгерд, мне надо поговорить с твоей женой.

Лицо мельника потемнело.

— Зачем тебе моя жена?

— Затем, — сказал Ждан мягко, — что я веду сыск о мёртвых. А твоя жена была им подругой с детства. Я хочу её расспросить. Только расспросить, мельник. Она ни в чём не виновата.

Ольгерд смотрел на него, тяжело дыша. Видно было, что в голове у него медленно, со скрипом, как его собственное колесо, проворачивается мысль.

— Она хворая, — сказал он наконец. — Не она. Сын. Малой наш, Ивашка. Третий день горит весь, жар, бредит. Цветана над ним не спит, не ест. Ей не до разговоров.

— Я недолго.

— У нас сейчас монах, — сказал мельник, и в голосе его прозвучало облегчение. — Лекарь из монастыря. Святой человек. Пришёл сам, без зова, услыхал, что малой хворает. Вот сидит над ним.

Ухват за спиной у Ждана издал тихий звук, вроде икоты.

Ждан не обернулся. Лицо у него не изменилось ни на волос.

— Брат Феогност? — спросил он.

— Он самый. — Мельник даже улыбнулся. — Знаешь его?

— Знаю, — сказал Ждан. — Мы сегодня уже виделись.

В избе было жарко натоплено и пахло потом, болезнью, травами и мёдом. В углу, на лавке, на ворохе овчин метался мальчик лет шести, весь красный, с прилипшими ко лбу светлыми волосами. Он что-то бормотал в жару, неразборчиво и жалобно, и всхлипывал во сне.

Над ним, на низкой скамеечке, сидел брат Феогност. Чёрный подрясник, склонённая голова, длинные пальцы, которые лежали на лбу ребёнка, легко, как лист на воде. Рядом на столе стояли раскрытая котомка, глиняные горшочки, плошка с водой, чистые тряпицы.

По другую сторону лавки, на коленях, стояла женщина. Молодая, лет двадцати пяти, полная, круглолицая, с толстой русой косой, растрёпанной, будто её давно не переплетали. Глаза запавшие, красные, губы искусаны. Цветана, жена мельника. Она держала сына за руку и смотрела на монаха, как смотрят на икону.

При звуке шагов Феогност поднял голову. Увидел Ждана, и лицо его осветилось тёплой, чуть удивлённой улыбкой.

— Вирник, — тихо сказал он. — Вот так встреча. Второй раз за день. Видно, Господь сводит.

— Видно, — сказал Ждан. — Так вот он, твой болящий.

— Вот он. — Келарь погладил ребёнка по мокрым волосам. — Мне ещё утром послушник сказал, что у мельника сын в огневице. Хотел сразу пойти, да тут ты приехал. А потом, видишь, подумал: всё одно мне в Заречье, вот и тебя заодно перевёз. — Он снова повернулся к мальчику. — Ничего. Жар скоро спадёт. Простыл он, видно, на реке. Дети всегда к воде лезут.

Цветана при этих словах вздрогнула всем телом.

— Он не ходил к реке, — прошептала она. — Я не пускаю. Никогда. Ни на шаг.

— Ну, к ручью. Там холодно, ключи. — Феогност мягко коснулся её плеча. — Не бойся, дочь моя. Не бойся. Я дам тебе снадобье, и к утру ему полегчает.

Он взял со стола маленький глиняный горшочек, заткнутый деревянной пробкой и обвязанный тряпицей.

— Вот. Это мёд с травами. Липовый цвет, малина, мята, ивовая кора от жара. Давай ему по ложке на ночь и утром. — Он помедлил, посмотрел на Цветану внимательно и ласково. — И сама возьми ложку, дочь моя. На ночь. Ты третью ночь не спишь, я вижу. Глаза у тебя, как у загнанной. Если ты свалишься, кто за ним будет смотреть? Мёд тебе не повредит. Только поспишь крепче.

— Спасибо, отче, — прошептала Цветана и поцеловала ему руку.

Ждан стоял у двери и смотрел.

Ему было неловко, сам не зная почему. Он смотрел, как келарь кладёт ладонь на лоб больного ребёнка, как мать целует ему руку, как в окошко сквозь бычий пузырь сочится серый свет и ложится на чёрный подрясник. Всё это было правильно и благостно, как на иконе. И именно поэтому Ждану было неловко. Хотя может и нет. Так бывает, когда смотришь на хорошо написанную картину и вдруг замечаешь, что тень у одной из фигур падает не в ту сторону. Но он не мог понять, какая тень и куда падает.

— Я пойду, — сказал Феогност, вставая и собирая котомку. — Завтра загляну ещё, если отпустят. — Он повернулся к Ждану. — Ты, верно, к Цветане по делу? Не утомляй её, вирник, прошу тебя. Она и так на ногах едва стоит.

— Я недолго, отче.

— Знаю. Ты человек добрый, хоть и прячешь это. — Келарь улыбнулся и перекрестил всех троих: Цветану, мальчика, Ждана. — Храни вас Господь.

Он вышел, пригнувшись в низких дверях. Ждан слышал, как он говорит что-то во дворе мельнику, как мельник гудит в ответ благодарно и почтительно, а потом шаги удалились, и стало тихо. Только колесо за стеной скрипело, вздыхало и ворочалось.

Ждан подошёл к столу. Взял горшочек с мёдом, вынул пробку и понюхал. Пахло мёдом, липой, мятой. И ещё чуть-чуть горьковато, ивовой корой, наверное, или ещё чем-то лекарственным. Все лекарства горькие. Ждан не был травником. Он заткнул горшочек и поставил на место.

Ухват был во дворе, с мельником. Мельник, едва монах ушёл, снова завёл про лодку, а Ухват, умница, сам увёл его к пристани показывать, где лодка стояла. Ждан был ему за это благодарен. Цветане при муже говорить будет тяжелее.

Он сел на скамеечку, где только что сидел келарь.

— Цветана, — сказал он негромко.

Она подняла на него глаза. В глазах был страх, усталость и ещё что-то тупое, обречённое, какое бывает у скотины, которую ведут на убой.

— Я знаю, зачем ты пришёл, — сказала она. Голос был хриплый, сорванный. — Все знают. Вся деревня знает. Малуша, Горислава, Любава. Теперь я.

Ждан помолчал.

— Ты знаешь, почему они умерли? — спросил он.

Она замотала головой. Быстро, судорожно.

— Нет. Нет. Не знаю.

— Цветана. — Ждан наклонился к ней. — Я приехал из Владимира, чтоб найти того, кто их убил. И чтоб он больше никого не убил. Но я не могу тебя уберечь, если ты мне ничего не скажешь. Я знаю, что вас было пятеро. Вы с детства были вместе. И девять лет назад, на Купалу, вы поплыли на остров. С Весняной. И Весняна не вернулась.

Цветана смотрела на него, и лицо её становилось всё белее и белее, пока не стало белым, как мука на фартуке её мужа.

— Кто тебе сказал? — прошептала она.

— Неважно. Это правда?

Долгое молчание. Мальчик на лавке застонал во сне, и мать машинально погладила его по голове, не отрывая глаз от Ждана.

— Правда, — выдохнула она наконец. — Поплыли. Дуры были. Девки. На Купалу на остров нельзя, все знают, что нельзя, а нам что? Весняна сказала: поплыли, на Ящеровой гриве гадание верное, суженого увидим. Она старшая была, смелая. Мы за ней. А Ярина за нами увязалась, малая. Мы её гнали, а она всё равно. На своей долблёнке, следом.

— И что было на острове?

Цветана закрыла глаза.

— Мы венки пустили. Гадали. Смеялись. Костёр развели, маленький. Потом Весняна пошла к воде, на ту сторону острова, к омуту, где идол. Одна. Сказала: я там погадаю, где самая сила, а вы не ходите, не то не сбудется. Мы ждали. Долго. А потом...

Голос её сорвался. Она замолчала и стиснула руку сына так, что мальчик захныкал.

— А потом? — очень тихо спросил Ждан.

— А потом мы пошли за ней. Услышали... не знаю. Плеск. И пошли. — Она открыла глаза, и в них был ужас, давний, девятилетний, нисколько не поблёкший. — И увидели его.

— Кого?

— Ящера, — прошептала Цветана.

Ждан не шевельнулся.

— Какой он был?

— Чёрный. Весь чёрный, мокрый. Из воды вышел. Он Весняну держал. Она не кричала. Уже не кричала. Он её в воду... под воду... — Цветана задохнулась. — А потом он нас увидел. Повернулся. И пошёл к нам. И мы побежали. Все побежали. А он... он догнал. Одну, Малушу. Схватил за косу. И сказал...

Она замолчала.

— Что сказал?

Цветана посмотрела на Ждана, и губы её дрожали.

— Он сказал: «Скажете хоть слово — каждую заберу. По одной. Где бы ни были. Из-под земли достану». А потом ещё сказал, тихо, нараспев, будто молитву читал. Не по-нашему, по-церковному: «Внидоша воды до души». Мы не поняли. Мы потом думали: заклятие Ящерово.

Колесо за стеной скрипнуло и вздохнуло.

— «Внидоша воды до души», — медленно повторил Ждан.

— Мы молчали. Девять лет молчали. Даже друг другу не говорили. Даже на исповеди. — Цветана всхлипнула. — А Весняну наутро нашли, и все сказали: Ящер взял. А мы знали, что Ящер. Мы его видели. И молчали. И отец её умер, и мать с ума сошла. А мы молчали. Ярина нам потом в глаза смотрела, малая совсем, и молчала тоже. Её, видно, тоже... Он её не видел, она в долблёнке сидела, у берега. Но она видела. Всё видела.

— А теперь, — сказал Ждан, — кто-то из вас заговорил?

Цветана замотала головой.

— Не знаю. Не знаю! Я никому, никогда! Клянусь! Малуша, может... или Горислава... Не знаю. Любава — она уехала, в Ростов, к отцу, совсем ещё девчонкой, мы её и не видали почти. Вернулась этой осенью, перед свадьбой. Приходила ко мне. Весёлая была. Про Ростов рассказывала, про жениха. Про остров ни слова. Мы никогда про остров. А потом... — Цветана снова всхлипнула. — Потом она в монастырь поехала, к исповеди, а через неделю её...

Она закрыла лицо руками.

Ждан ждал. Он умел ждать.

— Цветана, — сказал он, когда она немного утихла. — Ещё одно. Ты сказала: Ящер сказал. Ящер говорил с вами. Как он говорил? Каким голосом? Рыкал? Шипел? Ревел?

Цветана отняла руки от лица. Посмотрела на него растерянно, будто сама никогда об этом не думала.

— Шёпотом, — сказала она. — Он шептал. Тихо так. Малуше на ухо, а мы все слышали. Будто... будто человек.

— Будто человек, — повторил Ждан.

Он поднялся.

— Цветана, слушай меня внимательно. Сегодня ночью с тобой останется Ухват, мой человек. Он будет сторожить. Ты из дому не выходи. Ни за чем. Даже если позовут. Даже если тебе покажется, что сын твой во дворе плачет. Даже если покажется, что Весняна зовёт. Ни за что. Поняла?

Цветана кивнула. Глаза у неё снова стали тупыми, обречёнными.

— Не поможет, — сказала она тихо. — Он сказал: из-под земли достану.

— Посмотрим, — сказал Ждан. — Ухват, знаешь ли, тоже кое-кого из-под земли доставал. Он у меня бывший скоморох. Он и Ящера переплюнет.

Он хотел, чтоб она улыбнулась. Она не улыбнулась.

Ольгерд, когда ему сказали, что вирников человек заночует у него на мельнице, сперва разорался, потом надулся, потом, когда Ждан тихо и коротко объяснил зачем, побледнел и долго молчал.

— Цветана? — спросил он наконец, и голос у него стал совсем другим. — Моя Цветана?

— Может, и нет, — сказал Ждан. — Может, я ошибаюсь. Но лучше ошибиться так, чем иначе.

Мельник посмотрел на избу, где спал больной сын и сидела над ним жена, потом на Ухвата. Ухват стоял, расставив ноги, сунув большие пальцы за пояс, рыжий, широкий, с ножом под оберегами.

— Пусть остаётся, — сказал Ольгерд глухо. — Я и сам не лягу. С топором сяду у двери.

— Вот и хорошо, — сказал Ждан. — Вдвоём веселее.

Он отвёл Ухвата в сторону, к плотине, где гул воды заглушал голоса.

— Ни на шаг от неё, — сказал он тихо. — Не пей. Слышишь меня? Ни капли. Даже если мельник будет угощать.

— Да понял я, понял, — сказал Ухват обиженно. — Что я, без понятия?

— Ухват.

— Ни капли, — серьёзно сказал Ухват. — Клянусь медвежьим зубом. И крестом. И громовиком. Всеми сразу.

Ждан посмотрел на него, кивнул и повернулся уходить.

— А ты куда? — спросил Ухват.

— К Ярине, — сказал Ждан. — Она пятая. Она тоже видела. А сторожить её некому.

— Так она тебя на порог не пустит.

— Пустит, — сказал Ждан. — Или не пустит. Тогда я посижу под окном. Мне не впервой.

— Жданко. — Ухват ухватил его за рукав. Лицо у него было странное. — А монах-то... Он ведь тоже здесь был. Как раз здесь. Как раз у неё.

Ждан долго смотрел на него.

— Он лекарь, — сказал он наконец. — Он лечит детей. В селе, где дитя хворает, лекарь и будет, Ухват.

— Ну да, — сказал Ухват неуверенно. — Ну да. Конечно. Я так, к слову.

— К слову, — согласился Ждан.

И ушёл, не оглядываясь, в серые сумерки, в сторону болота.

Гать к избе знахарки в темноте была ещё скользче, чем днём. Ждан дважды оступился и один раз провалился ногой в чёрную болотную жижу по колено. Он выругался вполголоса, по-гречески, как учил покойный Нестор: тот говорил, что если уж сквернословить, то на языке, которого бесы не понимают.

Изба Ярины светилась в темноте единственным тусклым окошком. Над дверью белел конский череп. Кот сидел на своём чурбаке и, едва завидев Ждана, поднял хвост трубой и демонстративно ушёл за угол.

Ждан постучал.

Тишина. Потом шаги. Потом дверь приоткрылась на ладонь, и в щели блеснул серый глаз.

— Опять ты, — сказала Ярина.

— Опять я, — согласился Ждан. — Я сегодня был у Цветаны.

Глаз в щели расширился. Дверь не открылась шире, но и не закрылась.

— Она мне рассказала, — сказал Ждан. — Про Купалу. Про остров. Про Весняну. Про того, кто вышел из воды. Про то, что он сказал. Она сказала, что ты была там, в долблёнке у берега. Что ты всё видела.

Молчание. Долгое. Ждан слышал, как она дышит за дверью, быстро и неровно.

— Ярина, — сказал он. — Их помимо тебя было пятеро. Трое мертвы. Цветану сегодня сторожит мой человек. А тебя не сторожит никто. Пусти меня. Я сяду у печи и буду сидеть до утра. Можешь со мной не разговаривать. Можешь спать. Можешь хоть кота на меня натравить. Только пусти.

Ещё молчание.

Потом дверь закрылась. Ждан услышал, как с той стороны лязгнул засов.

Он постоял. Вздохнул. Огляделся, нашёл у стены колоду для колки дров, сел на неё, завернулся в плащ и привалился спиной к брёвнам избы под окошком.

— Ну что ж, — сказал он вслух. — Посижу так.

Ночь была сырая и холодная. Над болотом стоял туман, и в тумане что-то булькало, вздыхало, хлюпало. Где-то далеко, на реке, кричала ночная птица. Ждан сидел, слушал и думал.

«Шёпотом, — думал он. — Ящер шептал. И читал псалом. Ящер, который знает Псалтырь».

Мысль ускользала, как рыба из рук. Он ловил её и не мог поймать.

Дверь за его спиной тихо скрипнула.

Ждан обернулся. В проёме стояла Ярина, в рубахе, с наброшенным на плечи платком, с распущенными волосами. В руке у неё была кружка, от которой поднимался пар.

— На, — сказала она хмуро, протягивая кружку. — Пей. Сдохнешь тут у меня под окном от лихоманки[31], мне потом отвечать.

Ждан взял кружку. Сбитень, горячий, пряный.

— Спасибо, — сказал он.

Ярина не уходила. Стояла в дверях, обхватив себя руками, и смотрела в туман, в сторону реки.

— Цветана, — сказала она вдруг. — Сбереги её, вирник.

— Сберегу.

— Береги. — Она помолчала. — Она добрая. Глупая, но добрая. Она мне тогда, после всего, хлеб носила. Когда мать... когда тётка ещё не приехала. Каждый день носила. Ей самой было пятнадцать. Тайком от своих носила.

— Я знаю, что ты видела, Ярина, — тихо сказал Ждан. — Тогда. На острове.

Она не ответила.

— Ты видела не Ящера, — сказал он. — Цветана видела Ящера, потому что ей было страшно и потому что так проще. А ты сидела в долблёнке у берега, в темноте, в стороне. Ты смотрела не со страху, ты смотрела, как смотрят дети: во все глаза. И ты видела человека. Правда?

Ярина медленно повернула к нему голову. В свете, падавшем из двери, глаза её казались чёрными.

— Иди ты к лешему, вирник, — сказала она устало, без злобы. — Пей свой сбитень и иди к лешему.

И закрыла дверь. Но засов на этот раз не лязгнул.

Ждан посидел. Допил сбитень. Поставил кружку на порог. Подумал, улыбнулся в темноте.

Потом снова завернулся в плащ, привалился к стене и стал смотреть в туман.

---

[31] **Лихоманка** — здесь это разговорное или диалектное название болезни, сопровождающейся жаром и ознобом.

На мельнице было тихо.

Ухват сидел на лавке у двери в горницу, где спали Цветана и мальчик. Ольгерд сидел у входной двери на чурбаке, с топором на коленях, и клевал носом. В печи догорали угли. За стеной скрипело и вздыхало колесо. Скрип-вздох. Скрип-вздох. Как дыхание. Как колыбельная.

Ухват не пил. Он поклялся и не пил. Мельник ставил перед ним кувшин с пивом. Ухват кувшин отодвинул, мужественно, со слезой в глазу, и мельник посмотрел на него с уважением.

Мальчику к полуночи полегчало. Жар спал, он перестал метаться и уснул ровно и тихо. Цветана, дав ему ложку мёда из монашьего горшочка, постояла над ним, посмотрела, потом, поколебавшись, зачерпнула ложку и себе. Ухват видел это в дверную щель. «Святой человек велел, — подумал он. — Пусть поспит, бедная. Третью ночь не спит».

Цветана легла рядом с сыном, не раздеваясь, и через минуту уже дышала глубоко и ровно.

Ухват сидел и слушал колесо.

Скрип-вздох. Скрип-вздох.

Он не пил. Он не спал. Он сидел и смотрел на дверь горницы, и на входную дверь, и на мельника с топором, и в маленькое тёмное окошко, за которым стоял туман. Глаза слипались. Тепло, тихо. Колесо. Скрип-вздох.

Он ущипнул себя за руку. Встал, прошёлся. Сел опять.

Скрип. Вздох.

Мельник у двери тихо захрапел.

Скрип...

Вздох...

Ухват открыл глаза.

Он не помнил, когда их закрыл. В печи уже не было углей, только серый пепел. В избе стояла темнота и холод, такой холод, будто открыли дверь на мороз. Колесо за стеной скрипело и вздыхало, как прежде, мерно, неторопливо.

Входная дверь была открыта.

Не настежь. Приоткрыта, на ладонь. И в щель тянуло туманом и сыростью.

Мельник храпел на чурбаке, уронив голову на грудь. Топор лежал у его ног.

Ухват вскочил так, что лавка опрокинулась. Рванул дверь в горницу.

Мальчик спал на лавке, разметавшись, ровно дыша, с влажными от пота волосами.

Цветаны рядом не было.

— Ольгерд! — заорал Ухват так, что мельник подскочил на чурбаке и схватился за топор. — Ольгерд, вставай! Жена! Жена твоя где?!

Он вылетел во двор. Туман. Белая, мёртвая, непроглядная стена. Ни звука, только колесо. Скрип-вздох. И вода гудит в лотке.

И там, внизу, у пруда, где ручей уходил к реке, в тумане мелькнуло белое.

Ухват побежал.

Глава шестая. Четвёртая точка

Туман был везде.

Ухват бежал сквозь него, как сквозь мокрую шерсть, вытянув руки, спотыкаясь о кочки, и туман лез ему в рот, в глаза, в уши, глушил шаги и дыхание. Колесо за спиной скрипело всё тише, и скоро остался только гул воды в лотке, а потом и он пропал. Ухват бежал вниз, к пруду, туда, где мелькнуло белое.

И вот оно снова. Впереди, шагах в двадцати, а может, в десяти, в тумане не разберёшь. Белая фигура. Шла медленно, ровно, не оглядываясь, не спотыкаясь, будто плыла над травой. Распущенные волосы по спине. Руки опущены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.